

# Юзеф Игнацы Крашевский

## СФИНКС

На люде, мирских, все еще настолько юных сердцем, что все живое и радостное возбуждает их, — монастырь с его тихими стенами, темными закоптевшими сводами, полный молчания, нарушаемого лишь медленными шагами человека или ходом часов, производит впечатление холодного склепа. Они готовы поскорее выйти из него на свежий воздух, присоединиться движению, толпе и шуму, словно боясь, что каменный гроб умерших для мира сомкнётся над ними навеки и удержит в своих холодных объятиях. Но зато для тех, кто телесно и духовно прошли сквозь страны веселья и юности, эта картина совершенного покоя, «покоя, какого мир дать не в состоянии», имеет столько манящего очарования!

Пусть пишут, что хотят, гордые и упоенные новой наукой люди, не видящие сути за золотым блеском новинки; пусть выступают против монастырей и монашества, которых они теперь не могут понять, либо вследствие предвзятого мнения, либо из-за неверной точки зрения; однако как много разочарованных и обиженных миром вздыхает по недостающей им монастырской тишине! По-видимому, являющееся наиболее трудным

самоотречение становится таким желанным, когда собственная воля всегда вела человека к гибели, когда усталый, он падал ниц, не зная, что предпринять. Тогда-то человек охотно вручает себя и свою жизнь наставнику, врачуателю души; тогда он с наслаждением уходит из мира разочарований, борьбы, из мира, навсегда для него пустого.

В века веры все люди, ныне кончающие самоубийством физическим или нравственным, люди, которых страдание убивает, удалялись в монастырскую тишь, стремясь раздуть в себе последнюю искру религии, чтобы согреться у святого огня. Раньше монастырь был действительно гаванью, куда не долетали ветер и бури мира, где сладкая однообразная тишина превращала длинные годы в незаметное мгновенье. Так его понимали основатели орденов, таким его должны были создать действительные потребности человеческой природы. Если монастыри и смогли стать убежищем лени, то этот факт все-таки ничего не говорит против пользы их в качестве приюта для людей измученных, разбитых жизнью. Люди сумели все в мире испортить, всем воспользоваться сверх меры.

Не знаю почему, но я тоже люблю эту тишину монастыря и — если только возможно — никогда не проеду мимо этих уединенных жилищ, не почерпнув в них покоя, как из источника черпают

холодную и освежающую воду истомленные в дороге усталые путники. Наши старые монастыри все еще прекрасны.

Несколько лет тому назад пришлось мне проездом побывать в небольшом городке нашей милой Литвы (название разрешите скрыть, как я разрешаю вам угадывать); недалеко от него виднеются белые и красные стены монастыря и костела ордена капуцинов.

Этот городок окружен красивой холмистой местностью и темно-синими сосновыми и еловыми лесами; долина, среди которой он расположен, окружена до сих пор еще не расчищенной березовой рощей.

Подобные рощи встречаются только в Литве. Высятся стройные белые березы, и сквозь них синее далекое небо; у подножия разрослись мхи и кустарники, словно скрывая доступ к деревьям.

Небольшая речка вьется по зеленой равнине, образуя рядом с городком большой пруд, закрытый старыми вербами, и подходит почти под сады горожан. На прибрежных холмах кое-где огороды и сады; тут и там разбросаны остатки выкорчеванных лесов и сосны с ульями, спасшими их от топора. В долинах между холмами разбросаны серые деревни и белые колокольни костелов. По другую сторону городка на фоне темных елей красуется громадный монастырь, воздвигнутый еще в XVII столетии.

Это было столетие возвращения в лоно католицизма многих польских родов, отпавших от него раньше, возвращения, обусловленного как рвением Сигизмунда III и красноречием ксендза Скарги, так и естественной реакцией против неусвоенных, но живо заинтересовавших своей новизной протестантских принципов. И вот тогда-то появлялись один за другим монастыри в большем числе, чем раньше, когда еще царствовала единая непоколебленная вера.

Вернувшиеся к вере отцов сыновья и внуки спешили воздвигать великолепные здания и обогащать их, стараясь доказать свое католическое усердие и искренность обращения. Монастыри появлялись, как грибы после дождя, а шведский мрамор, который ввел в моду Сигизмунд III при постройке виленских костелов, украшал не только алтари, но и фасады костелов; на них виднелись каменные букеты и ангелы с золочеными крыльями. Над лесами и пустошами заблестали кресты и медь куполов. Дороги «в Кальварию» посыпали землей, нарочно привезенной из Иерусалима; в Риме раздобывали святые картины (напр., Сапега в г. Кодни), крали реликвии мучеников, покупали в Аугсбурге богатые гробы, серебряные саркофаги, роскошные дароносицы из золота и драгоценных камней, заказывали дорогие картины у знаменитейших художников. Дома Бога сияли

роскошью, которую дарили им сокрушенно и ревностно вновь обращенные. Божьим слугам завещали большие села и имения с просьбой молиться за грехи отцов и позднее раскаяние их детей.

В эту эпоху и был выстроен монастырь и костел капуцинов, в окружении сосен и елей, вдали от маленького городка, в то время состоявшего из нескольких десятков домиков, расположенных по болотистому побережью Быстрички.

Попозже Бог вознаградил детей за отца и дал возможность разрастись городку благодаря торговле. Этот рост был очень быстрым, и городок, словно благодаря монастырь, придвинулся своими домами к его стенам. Росту помогла во многом слава церковных праздников и икона св. Антона, считавшаяся чудотворной. Ежегодно в июне набожные толпы паломников наполняли городок, пребывая в нем почти неделю. Старый приходский костел, выстроенный из дерева еще в XIV веке, уступал своих прихожан монахам. Вокруг него находились могилы, его подремонтировали, и он стал кладбищенской часовней, где в праздник св. Иосифа, покровителя прихода, справляли торжественное богослужение.

Новое здание было выстроено со всей доступной той эпохе роскошью на большом плацу, завещанном отцам капуцинам. Не жалели при

постройке ни земли, ни кирпича, ни труда. Сад захватил даже часть елей из леса и вообще занял большое пространство; ограда из хорошо обожженного кирпича окружила монастырские дома, костел, двор и сад, где хватило места на цветы, деревья, аллеи, пруд, часовню, мостки и каналы и проч. Там можно было видеть имена Иисуса и Марии, высаженные зеленью на песке, прекрасные цветочные компасы и тому подобные набожные изобретения.

Основатель, очевидно, задался целью украсить жизнь отшельников, насколько мог. Тенистые липовые аллеи, предназначенные для молитвы и размышлений, беседки с каменными скамейками, столами, статуями святых, пруд с ольхами и гнездами аистов на них, прекрасный фруктовый сад — все это радовало взор и давало возможность наслаждаться зеленью, воздухом и пением птиц, не видя посторонних и не попадаясь им на глаза. Здесь монах мог на прогулке упасть на колени и молиться под влиянием восторга или горя, и никто не увидел бы его и не принял его искреннего порыва за притворство и расчет. В те времена, когда страну еще наполняли протестанты, монах часто принужден был скрывать даже молитву, так как и она могла подать повод к соблазну и греху.

На горке, среди сада, построили открытый

павильон; отсюда открывался вид на городок, речку, зеленые луга и серые деревни, на холмы, леса, желтые поля, на дорогу. Сюда часто приходил греться на солнышке старейший из монахов, с седой бородой, опираясь на палку; солнце было здесь и в то время, когда весь сад был уже во власти тени, и в то время, когда еще кругом покоилась утренняя роса. Глядя на могилы с черными и белыми крестами, монах молил послать ему мирную, сознательную смерть, к которой он бы мог заранее подготовиться, подобно человеку, отправляющемуся на пир.

Ближе к монастырю с южной стороны цвела роскошная гвоздика и белые лилии; рядом с ним наши старые цветы — нарциссы, ирисы, орлики и др.

Среди цветов и зелени были рассеяны повсюду напоминания о молитве. На высоких окружающих стенах в нескольких местах стояли часовенки с кальварией и статуями святых. Среди деревьев возвышался громадный крест, а рядом с ним рос большой можжевельник, достигающий до размеров ели.

Кроме монахов и птиц редко кто заглядывал в этот сад. Не одна долгая жизнь протекла между костелом, кельей и цветочной грядкой; не один седобородый старик поливал и подчищал нежное деревцо, поглядывая с опаской на его листья, как

бы полагая, что судьба воспитанника предскажет ему близкую кончину. Цветы капуцинов были не только развлечением для них самих, но часто и приятным подарком соседям, в особенности белые благовонные лилии и пурпурная гвоздика.

Костел, подобно всем капуцинским костелам, был просторен, немного темноват, полон резных деревянных украшений, заменявших металлические. Большой алтарь, скамьи и несколько боковых алтарей поменьше, все из дуба, обращали на себя внимание тонкой! работой и красивой формой, в стиле XVII в. Несколько статуй было тоже из дерева. Посреди наверху была как бы подвешенная кальвария — Христос, умирающий на кресте, и святой Иоанн с Матерью Божьей, со слезным взором, устремленным на Спасителя. Сзади главного алтаря занимали весь зал закрытые хоры (сталли) капуцинов. Нередко оттуда доносились до случайного прохожего, на минуту вошедшего помолиться, звуки набожных песен.

Своды были покрыты картинами из жизни Божьей Матери, принадлежавшими опытной кисти Данкертса и обращавшими на себя внимание колоритом и смелостью линий. Посередине было Вознесение, славящее Марию и костел, который она представляла, согласно многим толкованиям. Темный костел сиял блеском только в те несколько праздников, которые здесь справляли со всей



доступной монастырю роскошью... В день святого Антония, святого Франциска, в день Порціонкули, в особенности в Троицу и день Божьего Тела — все здесь покрывалось зеленью и цветами. Начиная от каменного пола, посыпанного сосновыми ветками и травами, вплоть до самых скрытых в уголках алтарей везде сияли цветы и зеленели листья. Даже столбы украшали соснами, а на главном алтаре рядом с огнями множества свечей возвышались громадные вазы и букеты. Все это придавало необыкновенно привлекательный вид этому святому месту. Среди веток виднелись старые каменные усыпальницы с гербами рыцарей и с фигурами неустрашимых мужей и набожных и мужественных женщин.

В каменном полу недалеко от входа в подземные усыпальницы, обозначенного двумя железными кольцами, виднелась крыша из мрамора на гробе основателя, скромная и нарочно покорно, брошенная под ноги набожных посетителей. Здесь не было ни герба, ни надписи, напоминавшей о важных чинах и происхождении покойника — только несколько строк с просьбой помолиться; за грешника.

Гораздо позже в фасад костела вставили черную мраморную доску с длинным похвальным словом, составленным усилиями благодарных монахов. Там перечислялись жены, дети, губернии,

комиссии и выборы в сейм основателя, подробно и детально; не менее тщательно были описаны и его добродетели. Между усыпальницами обращал внимание мавзолей сына гетмана, окончившего постройку, начатую отцом; здесь был изображен рыцарь в полном вооружении, касающийся рукою шлема, словно желая вытереть пот со лба. Символический венец из фруктов и цветов, украшавший стены мавзолея, должен был обозначать общественные заслуги и хорошие дела умершего.

Костельный вход был украшен мастерски исполненной из камня кропильницей, опирающейся на четырех ангелов, державших символы четырех добродетелей. Величественный орган занимал хоры у входа. Наверху стояли деревянные ангелы с трубами. Этот орган был разрешен в виде исключения ради церковных праздников, на которые стекались многочисленные паломники.

Таков был монастырский костел. Но надо было видеть его в дни торжественного богослужения, наполненный народом, в облаках дыма кадил, в цветах и зелени, чтобы вполне оценить его блеск и красоту. К нему примыкал большой монастырь, протягивая вправо и влево свои длинные флигеля с полукруглыми башенками на конце. Здесь также заботились об удобных помещениях для монахов и об украшении их бытия

в этом убежище.

Бесконечные коридоры и крытые лестницы соединяли между собой этажи и кельи. На длинных рядах стен тот же Данкертс де Рюи изобразил жизнь св. Франциска, св. Антония и много эпизодов из священного писания. Эти бессмертные творения религиозного духа сияли светлыми, теплыми красками. Старые даннигские часы, медленно идущие уже более двухсот лет, одни лишь нарушали глубокую тишину коридоров. Двери помещений и келий, выходящие в коридор, были обшиты дубовыми фанерами, не очень изящными, но трогательной простоты по форме линий. Под одной из арок днем и ночью горела лампа перед распятием; здесь обыкновенно идущие мимо монахи на минуту преклоняли колена и читали краткую молитву. Поодаль висел портрет основателя монастыря, но без булавы, доспехов и украшений, изображавший его в одежде паломника. Рядом с ним висели портреты его сыновей, наследственных благодетелей монастыря, а затем некоторых из генералов ордена и святых. Портреты монахов относились к ближайшей к нам эпохе, так как раньше, отрекаясь от фамилий, не разрешали даже оставлять свои изображения.

Тела погребались в общей могиле, память о них исчезала; надо было стать святым, чтобы продлить земную жизнь.

В этих громадных коридорах, по которым можно было гулять с удовольствием, царила почти непрерывная тишина. Дверь кельи, тяжело открывающаяся, шаги монахов, чириканье птиц и в особенности ласточек, свивающих гнезда под крышей, медленное тиканье часов — звуки эти разносились по всему зданию. В коридоры выходили двери больших зал, библиотеки и других помещений. Отсюда также вел ход с первого этажа на хоры.

Большой зал с громадной печью, обложенной синим кафелем, в которой можно было сразу сжечь целое дерево, находился внизу. Его потолок из подвижных досок пропускал тепло в неотапливаемые кельи.

Все здесь было сделано в большом масштабе; а так как келий, хотя и небольших по размеру, было множество, то зал занимал почти все крыло монастыря; его поддерживали каменной кладки колонны, на которых покоились верхние балки с изящной резьбой, уже почерневшей от времени и тепла. Одну из стен занимало Распятие, другую икона святого Антония. Остальные стены были покрыты фресками и текстами Святого Писания. У стен стояли дубовые скамьи и столы на крестовидных ногах, покрытые глиняными жбанами, чашками и чистой посудой. Деревянные буковые; ложки, обслужившие несколько

поколений, все еще лежали здесь, хотя медленно заменялись другими, похуже. Под окнами стояла! кафедра для лектора, обычно читавшего громко во время еды.

Окна зала выходили в сад. Виднелись клумбы полные цветов, и из сада доносился запах лилий. Посередине изящной решетки находился венчик с именем «Мария».

Кроме зала заседаний и выборов, теперь пустующего, здесь находились многочисленные портреты членов семьи основателя с лицами, сразу напоминавшими другой мир, другую эпоху. Здесь же была еще и большая библиотека.

На сводчатом потолке ее были фрески, изображавшие четырех евангелистов и св. Франциска, слушающего их рассуждения; по стенам стояли дубовые шкафы того же мастера, который сделал их алтари. Но здесь очевидно постарались. Верх каждого шкафа был украшен резьбой в виде цветочных венчиков, фруктов, религиозных эмблем. На большом столе, находившемся посередине, стояло прекрасное старинное костяное Распятие, напоминая, что вера должна руководить наукой.

Эта библиотека — подарок гетмана, к которому впоследствии присоединились дары сыновей и внуков, — имела много интересных книг. Вновь обращенный ее хозяин, вместо того,

чтобы сжечь творения иначе верующих, передал их монахам, чтобы то, что служило для гибели души, в других руках могло стать спасением. Этих опасных пленников держали под ключом в шкафах с решетками, из-за которых выглядывали лишь корешки, сверкая золотыми буквами, тисненными на пергаменте. Ключи были у о. настоятеля, который, по мере необходимости, давал старшим монахам писания Безы, Меланхтона, Эколампада, Кальвина, Лютера, Серве и множество брошюр XVI века. На верхних полках лежали коллекции Болландистов, Буллария, большие теологические энциклопедии, роскошные издания отцов Церкви, Библия на разных языках, комментарии, словари, путешествия. Здесь же, среди манускриптов, прятались летописи монастыря, заметки и записки, составляемые монахами; здесь нередко мысль, записанная на полях, свидетельствовала о выдающемся уме или о великой борьбе, неизвестной миру, но происходившей в тиши монастыря, борьбе с сатаной сомнения.

Увы! Чем ближе к нашей эпохе, тем реже попадались замечания и рукописи: монастырский дух исчезал. Когда-то драгоценная библиотека теперь покрывалась пылью, а ее громадную дверь умели открыть только двое из монахов. Из окон библиотеки открывался вид на костельный двор со статуями Девы Марии; и св. Антония с Иисусом на

руках и с лилией; дальше виднелась дорога и часть городка, луга, река, далекие села и леса.

Когда я посетил монастырь, он жил еще прежней жизнью. Добродушные монахи были друзьями всех соседей, их монастырь — наиболее гостеприимным домом, их обеды со знаменитой треской считались наиболее вкусными в посту, хотя их больше украшала беседа, чем изящные деликатесы; что же касается знаменитого старого меда, появившегося в маленьких рюмочках только в день Порциункули и св. Антония, то он славился на 20 миль вокруг.

Почти все кельи были еще заняты седыми как голуби стариками, одной ногой стоявшими в могиле, хотя они с юношеской подчас энергией спешили к больным и умирающим.

Кому незнакома капуцинская келья? Все они на один образец: маленькое окошко в сад, гвоздика на подоконнике, небольшая кровать с жесткой постелью, у изголовья распятие, у дверей кувшин с водой. Редко когда эту тесную коморку обширного улья украшает картина.

Окружающие монастырь соседи любили капуцинов и дружили с ними. Часто упрашивали одного из них погостить несколько недель в часовнях, помещавшихся при имениях. По воскресным и праздничным дням толпы собирались в костеле.

В пост посылали им рыбу, летом получали от них цветы, с удовольствием показывали друг другу их изящные работы, зеленые и белые восковые свечи. Соседние шляхтичи как бы составляли семью монахов, каждый спешил позаботиться о них, помочь им и, давая что-либо, радовался, словно сам получал. Несмотря на монастырскую тишину, мрачные стены и темный соседний лес, там было все-таки так весело и легко! В саду распускались крупные цветы, на ветках чирикали птицы; на дворе шалили румяные мальчишки, прислуживавшие в костеле; даже и монахи мирно улыбались, так как в этой тишине чувствовали себя счастливыми.

Никогда ни споры, ни столкновения не оказывали своего скверного влияния на соседей, а монастырская семья жила как настоящая семья, а то и лучше иной родственной. Но со временем пустели кельи и наполнялось кладбище; клумбы заросли травой, среди каменной мостовой двора пробивалась крапива; большой крест в саду подгнил и упал; настоятель, увидев его на земле на другой день после бури, заплакал; братия ушла из сада молча, в раздумье.

Когда я впервые заглянул в этот монастырь, он еще блистал и процветал. Проезжая мимо по шоссе, я услышал церковное пение, увидел открытые двери и остановился. Это был полдень, в



костеле не было никого, кроме нескольких мальчишек и стариков; на хорах за главным алтарем раздавалось торжественное пение монахов. Преклонив сначала колени и помолившись, я отправился затем осмотреть надписи, надгробные плиты и картины. Как раз когда я с любопытством рассматривал «Вознесение» Данкертса и взялся за карандаш, чтобы набросать эскиз, около меня появился монах (пение кончилось, а убиравшие мальчишки, вероятно, успели сообщить о моем присутствии).

Старик приветствовал меня обычным христианским обращением, напоминавшим старые века, когда крестное знамение и эти таинственные слова отличали в толпе первых последователей распятого Мессии.

— Какой красивый костел! — воскликнул я. — Что за картины.

— Правда, прекрасные? — перебил меня с радостной улыбкой старик. — Древние творения прежней набожности и таланта! А вы видели деревянные статуи на главном алтаре, которыми так восхищаются художники? А наши алтари? Если вы этим интересуетесь, то я бы вас пригласил и в монастырь; там в коридорах тоже картины известного Данкертса, да и в библиотеке; а в зале совета, говорят, хороший подбор портретов.

Замечая, что при одном лишь перечислении у

меня разгорелись глаза, старик улыбнулся и повел меня, показывая, поясняя, радуясь моим похвалам, как ребенок.

— Раньше набожные люди — дай им, Господи, небесное блаженство! — все драгоценное прятали под сень креста. Гетманы, высшие сановники заботились о бедном монахе, чтобы он за них молился, потому что их обязанности и окружающий мир отвлекали невольно от Бога и молитв. Набожная мысль больше воздвигла монументов, больше вдохновила творений искусства, чем гордость и стремление к славе. Теперь же... ну, не будем худо говорить о современной эпохе, и она имеет свои хорошие стороны!

Вздыхнул монах. Тихо разговаривая, мы подошли к алтарю в боковом притворе; но старик почему-то не обратил моего внимания на большую картину в дубовой раме, цвет которой свидетельствовал о недавнем происхождении. Я взглянул мельком, полагая, что, вероятно, картина не стоила внимания. Но представьте себе мое удивление при виде новой только что законченной картины, сразу говорящей о крупном художнике.

Я стоял в изумлении, всматриваясь пристально в нее. Новых картин этого типа никто, вероятно, у нас уже не увидит; нужны были глубокая вера, воодушевление и действительный

талант, чтобы создать что-либо в этом роде. Наши современные религиозные картины холодны и неподвижны, в них нет жизни, так как не хватает души.

Эта же, совершенно в духе старых флорентийских маэстро, представляла известную легенду. Здесь было видение св. Луки, когда перед изображением на холсте Девы Марии она появилась перед ним. Наверху среди лазури и легких облаков, в венке из маленьких ангелочков со сложенными ручками виднелась Королева Неба в белой победной одежде. Над челом ее сияла корона из семи звезд. На руках почивал маленький Иисус с божественным выражением на лице: мать и сын смотрели вниз на святого.

Под ними коленопреклоненный старик, в экстазе, с кистью в руке, с глазами, устремленными ввысь, казалось — жил и дышал. Полуоткрытый рот, словно сдерживал чувства и радостный вздох. Два улыбающихся ангела поддерживали полотно и палитру. Символическая жертва — вол, пал на колени и прижался. Даже и он был так естествен и так выразителен, что я, всматриваясь, все больше и больше удивлялся и восхищался. Вся картина в общем поражала своей жизнью и гармонией. Каждое лицо прекрасно передавало то, что хотел на нем изобразить художник, все жило и жило той идеальной жизнью иного мира, который мы так

жадно ищем в творениях искусства.

— Откуда эта картина? — спросил я с удивлением.

— Разве так хороша? — ответил добродушно старик, взглянув на меня.

— Чудно хороша!

— Ну, вот! Удивительное дело!

— Кто же ее написал? — продолжал я расспросы. — Ведь работа свежая.

— Действительно, еще нет и недели, как ее освятили и поместили над алтарем.

— А откуда она к вам попала?

— Э! Это монастырская работа, — ответил старик, покачав головой, — здешняя...

— Как? Здешняя? — переспросил я, все больше и больше удивляясь.

— Да, да. Писал картину брат Мариан.

— Вероятно, копировал с древней, и надо сознаться, копия очень хороша.

— О, нет! Это его замысел и работа. Но отцу настоятелю она пришлась не по вкусу; правда, не очень она подходила к алтарю, Да и пришлось заказать новые рамы, так как размеры картины больше предыдущей... Вот тут была прежняя, но от сырости совершенно испортилась и распалась на куски.

Если бы все это сказало мне другое лицо, я бы, пожалуй, не поверил, что в келье этого

монастыря, спрятанного в глубине литовских лесов, могла создаться подобная картина — творенье громадного вдохновения, артистически задуманное и перенесенное на полотно.

— А этот художник? — спросил я старика.

— Брат Мариан? Это наш монах... — ответил капуцин, нюхая табак.

— Великий художник! А совершенно неизвестный! Ему не отдали должного! — продолжал я восхищаться.

Старик слушал эти похвалы, по-видимому, сомневаясь в моих художественных познаниях; он пытался даже увести меня от картины к фрескам Данкертса и немецкой резьбе, но напрасно. Я весь был поглощен неизвестным великим художником-земляком.

— Могу я навестить брата Мариана в его келье? — робко спросил я, подумав.

— Почему же? Вероятно, можно. Но это немного странный человек, печальный, молчаливый, очень замкнутый! В монастыре это допускается, отчасти потому, что так предписывает поступать любовь к ближнему, а отчасти из-за его трудов для нашего монастыря. Не знаю, понравится ли ему посещение неизвестного лица; он, бедняга, любит одиночество.

— Но только на минутку?

— Пойдем, — ответил отец Серафин, —

пойдем, попробуем; если он не молится, так должен будет нас принять.

Направляясь к кельям, я не мог удержаться от расспросов, но; узнал о брате Мариане немногое.

— Мир его обидел, — говорил о. Серафин; — искал покоя, которого мир дать не в состоянии, в наших тихих стенах. Мы о нем ничего не знаем, разве только, что счастья не испытал. Видно по всему, что и в мирской жизни был художником. Следы исчезнувших страданий явились с ним даже сюда. Молитва, труд лечат много ран. В них он ищет лекарства и утешения.

Мы подошли к дверям кельи, и о. Серафин постучал. Изнутри послышался тихий голос, но слов я не разобрал.

— Это я, я, — ответил ласково старик, — я и гость, который увидел в костеле вашего св. Луку и пожелал непременно познакомиться с вами.

Двери открылись, и мы вошли в тесную келью. Она была того же типа, что и остальные; свет падал через единственное окошко с решеткой. Узкая кровать, столик и табуретка были на своих обычных местах. Посередине, к моему изумлению, на трех палках, кое-как скрепленных веревками, в самом неудобном положении было натянуто большое полотно. На полу лежали палитра, кисти, краски и прочие принадлежности художника. Между картиной и стенами едва оставался проход.

При одном взгляде я понял ясно, какое мучение представляла жизнь в этой крохотной клетке и работа, при которой нельзя было ни сесть, ни протянуть руки. Едва можно было — и то при большом навыке — сделать два-три шага. Освещение было неудобным, солнце падало прямо на полотно, а тени от решетки скрещивались на нем самым произвольным образом.

Обыкновенный художник, требующий столько удобств, однообразного освещения, простора, даже не понял бы, как здесь можно писать. Картина, поставленная почти под прямым углом, в силу необходимости, казалось, занимала самое неудобное положение. Действительно, иначе она бы совсем загородила путь между стеной и кроватью. Позже я узнал, что о. настоятель предлагал брату Мариану работать в пустом зале совета, но он пожелал взамен за удовольствие писания картин добровольно мучиться в тесной келье.

На большом полотне углем резко и широко был набросан эскиз картины. Несколько других висело на стенах или стояло на полу; так что еле можно было передвигаться между ними. Посередине в рясе стоял монах высокого роста. Открытый лоб, в поперечных морщинах, впалые блестящие глаза, красивый тонкий нос, узкий бледный рот, сильная мускулистая шея — только

это было видно. В руке, покрытой темными волосами, держал кисть. Эта фигура и лицо, оживленное вдохновением, печалью и покорностью, восхищали зрителя.

Я остановился у порога. Монах взглянул и, по-видимому, смутился; он слегка покраснел, рука задрожала; порывистым движением он сложил кисти в палитру и, бросив ее на пол, быстро подошел к нам.

Словно молнией осветилось его лицо каким-то гордым выражением, но сейчас изменилось и побледнело, поникнув.

На мои вопросы, удивление и похвалы ответил несколькими неразборчивыми словами, скромно и застенчиво, что казалось странным при его морщинистом челе и седеющих волосах. Казалось, будто он нас не пускал и хотел непременно вытеснить в коридор. Мне же очень хотелось посмотреть и другие его работы. Я удвоил похвалы и просьбы, и, наконец, при поддержке о. Серафима, получил разрешение чуть ли не силком протискаться вперед и посмотреть на новые картины. Я торопился, но внимательно глядел по сторонам.

Первая работа, еще мокрая и недавно полустертая рясой проходившего мимо, изображала святого Антония с младенцем Иисусом. Я еще не знал тогда, кто так испортил картину, сам ли



художник или один из монахов. Я вздохнул, так как картина была прелестна. Большое полотно с уже положенными отчасти красками изображало св. Франциска. Христос в небесах и монах на земле, соединенные чудными лучами, были схвачены артистически. Судя по тому, что было сделано, картина могла превзойти святого Луку. Основатель ордена, оставленный нарочно в тени (так как наибольшее освещение падало на Спасителя) был прекрасно изображен при помощи всех известных материальных средств искусства. Другой монах, закрывавший лицо рукой от блеска сверху, полный естественной простоты, казалось — не видел и не понимал надземного видения.

Лица двух монахов представляли прекрасное противоречие двух человеческих натур: поэтической, идеальной — и прозаической, обычной. Но оба, впрочем, были красивы, ласковы и честны. Христос, явившийся в небесах, имел божественное выражение. Прекрасным фоном служили старые дубы, стройные ели и темные сосны.

Вся картина вообще, хотя написанная без моделей и сразу, казалась результатом долгих опытов. Я стоял и не мог оторвать глаз. Другие небольшого размера картины изображали: «Смерть святого Иосифа», «Бегство в Египет», «Обращение святого Павла», «Мученичество святой Екатерины»

и т. п. На всех отпечаталась та же опытная рука, сильное чувство, гармония и красота.

Когда я смотрел на эти неожиданно найденные сокровища, брат Мариан стоял у дверей, почти стыдясь, с опущенными глазами и руками; его уже седеющая бородка свешивалась на грудь. Он ничего не ответил на похвалы, на вопросы, как будто боясь откровенности, боясь пробудить в себе мысли, не соответствующие занимаемому им сейчас положению. Я напрасно старался вовлечь его в разговор, и мне пришлось уйти с неприятным сознанием неудачи. Брат Мариан простился со мной ласково и покорно, но боялся промолвить лишнее слово, даже взглянуть на меня, напоминавшего ему оставленный мир. Я попытался было приобрести одну из его картин, но лишь только заикнулся об этом, как получил смущенный ответ, что его работа не принадлежит ему, что этим распоряжается о. настоятель.

Теперь со стариком монахом мы отправились в келью настоятеля. Нас встретили гостеприимно, угостили, и я спросил, нельзя ли получить что-либо из картин брата Мариана. Румяный, толстый настоятель, свободно расхохотавшись, ответил в свою очередь вопросом:

— Сударь мой! Разве это имеет какое значение?

— Это прекрасные картины, а со временем

будут очень ценными. Брат Мариан будет вторым Лексыцким, даже теперь уже он им стал.

— А кто это Лексыцкий.

— Знаменитый краковский художник, монах Бернардинского ордена.

— А, а! Есть там что-нибудь законченного у брата Мариана?

— Кажется, — поторопился я ответить, — что «Бегство в Египет».

— Прекрасно! Денег от вас, сударь, не возьмем, но если б вы взамен подарили что-нибудь монастырю?

— Что же вам угодно? С удовольствием!

— Если бы так красивую красную ризу? Не в чем праздновать дни св. Мучеников.

Эти слова настоятель произнес с легким сомнением, получит ли желаемое.

Я охотно согласился.

Настоятель победоносно улыбнулся, как бы удивляясь и жалея меня, и встал.

— Ну, так пойдем за этим «Бегством».

Мы опять направились в келью брата Мариана.

Настоятель вошел, не постучавшись; художник, вероятно, даже не расслышал скрипа двери, так как мы нашли его на коленях у кровати с лицом, закрытым руками. Перед ним было странное распятие, поразившее меня, так как крест

Спасителя был укреплен на спине бронзового Сфинкса. Услыхав привет настоятеля, он живо вскочил и, смутясь, стоял перед нами, с улыбкой, скрестив по монастырски руки на груди.

— А, а! Как тут пройти! — воскликнул толстый настоятель. — Еле можно пробраться среди этих вещей. Третьего дня я уже стер какую-то картину, да к тому же — что гораздо хуже — выпачкал новую рясу. Вот, — добавил, — этот господин хочет получить ваше «Бегство в Египет», картину, которую он очень хвалит. За нее он дарит конвенту красную ризу на дни Мучеников. Если вам, брат, не очень жалко расставаться со своей работой...

При этом он ласково взглянул на монаха. Тот слегка побледнел, но ничего не сказал, только склонил голову, повернулся живо к картине, снял ее, еще раз взглянул и (словно боясь, что не хватит потом решимости) вручил настоятелю.

— Все это, — промолвил он, — собственность монастыря. Хвала Господу, что я на что-нибудь пригоден. Возьмите, пожалуйста!

Стоимость ризы я сейчас же уплатил, обрадовавшись, что так легко приобрел, неожиданно, в пути, столь прекрасную картину. Настоятеля и Серафина зачем-то позвали, а я остался с глазу на глаз с братом Марианом.

Приблизившись к нему, я попытался узнать,

не примет ли и он чего-либо взамен картины, которой, казалось, было ему жалко; но он с ласковой улыбкой ответил:

— Наш устав не разрешает иметь собственность; да мне ничего и не надо. Покой, тишина монастыря, вот мои сокровища.

С этими словами прижал руку к груди и в глазах заблестели слезы.

— Значит, мир изранил твое сердце? — спросил я с участием.

— Не спрашивайте, — ответил. — Мне пришлось бы вспоминать то, о чем я хочу забыть. Разве вам хотелось бы ради простого любопытства лишить меня надолго дорогого покоя, который я, наконец, обрел?

— Это не любопытство, — возразил я, — это искреннее сочувствие. Вы меня подкупили большим талантом, вы мастер. Верно, недавно вы надели это платье. Раньше вы носили другую одежду и, вероятно, сильно страдали, если решились спрятаться под рясу монаха, обладая душой, не для него как будто созданной.

— Как? — промолвил капуцин, всматриваясь в меня с тихой грустью. — Уже судишь обо мне, брат? Совсем еще меня не зная? Так скоро? Кто знает, к чему я был создан! Верно лишь то, что я здесь счастлив, насколько может быть счастлив человек на земле.

Вдруг послышались шаги идущих монахов, и брат Мариан умолк. Едва настоятель и Серафин вошли, как мы простились. Неудобно было оставаться дольше, чтобы не мешать монахам и не прерывать путешествия. Я унес с собой лишь предмет долгих дум и приобретенное «Бегство в Египет».

Солнце уже заходило, когда я в сопровождении добрейшего о. Серафина, усердно угощавшего меня нюхательным табаком, опять прошел через монастырский двор и отыскивал своих людей и лошадей, потерявших терпение при столь неожиданно затянувшейся остановке. Все планы путешествия были нарушены из-за недостатка времени; пришлось переночевать в городишке, так как приличная корчма находилась на расстоянии четырех миль, а такой путь, да еще по скверным дорогам, не проехать было к ночи.

Рано утром я еще прослушал заутреню у капуцинов, потом напился кофе у настоятеля, но брат Мариан, как мне передали, слегка прихворнул и повидать его не удалось. Я не особенно и добивался визита, боясь ему быть в тягость, так как видел, насколько он не хочет вспоминать мир и все, что от него приходит к монаху, старающемуся забыть все за собой оставленное.

Лишь несколько лет спустя мне удалось собрать сведения в городишке о происхождении

монаха и его юности, а много спустя попались мне и другие материалы для этого романа. Как и где я их получил, не вижу надобности сообщать.

Брата Мариана, по словам одних, уже не было в живых; по словам других, он где-то доживал свой век в дальнем монастыре. Ничего достоверного сообщить мне не могли. Что касается монастыря, то он опустел и приходил в разрушение с той быстротой, с какой гибнут дела людей, предоставленные в жертву времени.

Несколько лет сделало его неузнаваемым. Наружные стены в нескольких местах развалились, на костеле обвалилась штукатурка, на крыше монастыря зияли дыры, двор весь зарос травой, в библиотеке и залах поселились воробьи. Пауки, летучие мыши и крысы одни лишь жили в молчаливых кельях и коридорах.

Фрески Данкертса отсырели, много картин и резьбы исчезло неизвестно куда. Голые стены со следами рам производили печальное впечатление. Евреи из городишка растаскали много дерева из монастырских строений на топливо. В саду виднелся еще вензель Марии, но цветы одичали, аллеи заросли, пруд покрылся зеленью, деревья повывломал ветер.

Один лишь старик ключарь наблюдал за разрушенным монастырем и дожидался смерти на своем посту. Согнутый в дугу, бледный, как

привидение, и молчаливый, как гроб, он днем обходил здание с ключами в руках, а ночью прислушивался к голосам, казалось, доносившимся из пустых зданий. Он клялся, что не раз слышал тихую органную музыку и в полночь поющих Requiem монахов.

Я бы был не в состоянии рассказать вам о юности того лица, которое я знал потом в рясе монаха и под именем брата Мариана, если бы не новое путешествие и случайный ночлег в городишке. Я знал уже из имевшихся у меня бумаг, как сложилась более поздняя жизнь художника, одевшего рясу; но мне остались неизвестными его происхождение и юность, так как мои заметки об этом умалчивали. Напрасно я пытался разузнать у соседей монастыря: старики умерли, молодые не знали или позабыли.

Я уже решил было, что ничего не узнаю, когда ночью в городишке в скучный осенний вечер я увидел входящего ко мне хозяина еврея, с ермолкой в руке и другой в кармане черного платья. Он явился посмотреть на приезжего и разузнать, кто он.

Это был одноглазый старик, с длинными седыми волосами и бородой, тощий, согнутый вдвое, но все еще живой. Оставшийся глаз сверкал остроумием и хитростью; сильный и молодой еще



голос (так как зубы остались целы) удивительно не шел к морщинистому лицу.

Разговор начался, как всегда, взаимными расспросами. Еврей пытался узнать, кто я, откуда, куда и зачем?

Я небрежно спрашивал об окрестностях, цене хлебов и тому подобном.

— А вы, здесь впервые? — спросил еврей.

— Нет, я бывал здесь несколько раз, между прочим и в монастыре.

— Да? В монастыре тоже?

— Еще при капуцинах.

Я вспомнил брата Мариана и вздохнул.

— Жаль бедных монахов, — добавил еврей, стараясь подлаживаться. — После их ухода местечко значительно обеднело.

— А вы знали, наверно, хорошо монахов?

— О, о! Как же! Всех! Я у них нанимал землю, где была печь для обжигания извести.

Слово по слову, мы коснулись брата Мариана.

— Художника? — спросил еврей.

— Знаешь и этого? — ответил я с любопытством.

— Ну! Как не знать! — пожал плечами еврей, стоя у печки с руками за поясом.

— Знаешь, откуда он?

— Я? Он почти родом из местечка, так как родился по соседству. Если бы не вечер, я бы вам

показал, где был домик его отца. Что странного, что знаю его историю и отца! Верно, никто лучше меня не знает!

Так благодаря случаю я узнал у старика Шмуля первую часть истории, которую преподношу читателям. Напав на след, я потом дополнил ее сведениями, собранными в окрестностях.

## I

Недалеко от описанного выше литовского городка, по ту сторону речки с дрожащим мостиком, чудом, очевидно, державшимся на тонких жердях, в небольшой долине на краю леса из сосен, елей, берез, белого бука и молодого дубняка стоял некогда домишко. Эй некогда означает не более нескольких десятков лет назад. Сейчас там кучи развалин и вспаханное кругом поле, да старый, мхом обросший крест на меже показывает, что там проходила дорога. Этот домик, окруженный березками и соснами, оставленными при корчевании, да еще каменными стенками, обычными соседями литовской избы, и мелкими канавами, был чем-то средним между домом шляхтича и избой крестьянина.

Видно было, что его хозяин не был ни простым мужиком, ни шляхтичем. Домик был

снабжен крылечком на двух тонких столбиках, что уже являлось как бы притязанием на дворянство. Ведь в старое время, как известно, выражение: я родился под крыльцом означало: я дворянин. Но крыльцо было пристроено к большой избе из сосновых бревен, переложенных мхом, с маленькими окошками и чистыми стеклами. Над высокой, соломенной крышей возвышалась красная труба, бесформенная и пострадавшая от ветра и дождя. Небольшой двор, окруженный каменной стеной, примыкал к хлеву, небрежно сколоченному, с воротами из непригнанных досок. За двориком лежал сад и огород, тоже мало занимающие места и бедные насаждениями. Зеленый луг, окруженный чем-то в роде забора из жердей, вероятно, принадлежал тому же хозяину. К хлеву почти примыкал соседний лес; в весеннее утро тут слышны были воркование диких голубей, постукивание дятла, пение соловья, даже шорохи лесных насекомых, так как кругом в полях царил тишина. Аист устроился на крыше хлева, по соседству с человеком, чтобы как всегда оставить ему, улетаю, гнездо.

В этом домишке-избушке проживала в то время вся семья Бартоломея Ругпиутиса. Сама фамилия и ее литовское значение вы-, давали происхождение этого человека и его первоначальное состояние. Но пан Бартоломей

давно уже ушел из Литвы (а вернее, из Жмуди) и здесь играл роль шляхтича. Так все у нас, еле бросив серп или аршин, сейчас хватались за щит и саблю. Ругпиутис; по-жмудски означает заботящийся о хлебе. Предки Бар-тка в течение многих лет ни о чем больше не заботились, как о спасении души и о хлебе насущном. Они были жмудскими подданными гетмана, построившего упомянутый капуцинский монастырь, и до сих пор обрабатывали родные поля. Один лишь Бартек случайно пошел по иному пути. Кто-то из гетманских потомков взял его к себе в услужение вместо внезапно умершего слуги. Потом его оставили при дворе. Бартек многому здесь выучился, но и многое забыл. Вновь приобретенные познания были отрывочны и смехотворны, а забвение коснулось как раз важнейших крестьянских добродетелей, правда, не блестящих, но имеющих большое значение в глазах людей, которые привыкли ценить поступки не по внешнему блеску, а по внутреннему содержанию.

Бартек жадно глотал поверхностные знания; он не очень-то заботился, как он ими воспользуется. Он был любопытен и жаждал подняться над своей родней; все, что его от них отдаляло, казалось ему хорошим. В голове его была великая путаница из собранных сведений; но он так радовался всему, что он узнал! Лъстец неумелый, но ничем не

смушавшийся и бесстыдный, он постоянно льстил и унижался, вознаграждая этим грубость и неуклюжесть лести. Грубые черты лица, низкий и широкий лоб, громадный рот, серые глазки, постоянная улыбка и уверенность в себе — вот внешность этого человека. Низкого роста, толстый, почти квадратный, сильный, он обладал дерзостью ребенка, который еще ни разу не был наказан, а в скверных обстоятельствах вел себя совершенно глупо, не понимая, что с ним творится.

Пылая жаждой всему научиться, он не спрашивал, чему и как учиться, лишь бы узнавать новое. Перепробовал почти все ремесла, все знал понемногу, но ничего толком. Но он сумел так расхваливать свои таланты, что даже лиц, не раз уже в нем разочаровавшихся, ему удавалось опять уговорить, а затем провести.

Единственной мечтой Бартка было стремление стать выше по положению и обрести независимость. Поэтому он до тех пор подлаживался к барину, пока тот не только отпустил его на волю, но и подарил ему участок земли около городка. Без всяких средств, но полный дерзких замыслов он отправился на новое место, совсем как Фердинанд Кортес на завоевание Мексики: без необходимых вещей, но с сильным желанием осуществить замысел.

Неуклюжий домишко, о котором я писал, был

создан почти его руками, или, по крайней мере — его ловкостью.

— Что мудреного в плотничьем деле! — сказал он себе, ночуя У огня под сосной уже на собственном поле, в первый же день вступления во владение полученной землей, еще пустой, но уже окруженной изгородью. — Что в нем мудреного! Топор, пила, веревка, да доброе желание, вот и плотник!

На другой день он купил в городишке топор и пилу, но все-таки для безопасности, как говорил, пригласил на неделю плотника на помощь, чтобы приглядеться к его работе. Спустя неделю, повытянув от него, что только мог, при помощи водочки, лести и разговоров, простился с помощником и на готовом фундаменте стал укладывать уже привезенные сосновые бревна. Но кое-как справившись со стенками, стал в тупик, когда дело дошло до крыши. Пришлось опять идти за плотником. Положив вместе с ним первую пару стропил, опять услал мастера, но последний, видя, как с ним обходятся, уже не на шутку рассердился.

Сердитого мастера Бартек поцеловал в плечо, но работу продолжал один. Как он потрудился, пока крыша была закончена, знает лишь Бог да он. Часто, не будучи в состоянии втащить наверх тяжести, поджидал на дороге прохожих крестьян и за понюшку табаку да ласковое слово пользовался

их помощью.

Наконец, появилась крыша; но чем ее крыть? Соломы купить было не на что; барина, который возможно, что помог бы, не было дома — уехал. Поэтому пришлось действовать своим умом.

Будучи при дворе, он учился всему; между прочим, там был немец, некто Клейн, красивший двери, лавки, табуретки, даже сундуки. Глядя, как он работает, и разводя ему краски, Бартек — по его словам — выучился красить. Немец не ожидал, чтобы хитрый жмудин устроил ему такую штуку и в конце концов лишил места. Но немного погодя, познакомившись с красками, приготовлением лака и со всей процедурой, жмудин втихомолку отправился к барину и предложил ему выкрасить даром новый; флигель, если только ему дадут краски и камень. Поэтому старому Клейну отказали, а Бартек взялся за работу и кончил успешно.

Весь двор стал считать его великим человеком, увидев, как он, никогда не учившийся, выкрасил вполне хорошо, будто сам Клейн. Барин хохотал, а Бартек получил в награду каменную плиту, часы, нож и кисти; все это он взял с собой на новое хозяйство. Так вот эта плита, сначала лежавшая под деревом, теперь ему вспомнилась, раз соломы не хватало. Взглянул на почти законченный домик, вздохнул, ударил по лбу, а

затем, недолго думая, взял чемоданчик, палку, протяжно свистнул на все четыре стороны и пошел направо.

Вдали виден был новый, еще желтевший свежим деревом дом; его белые трубы блестели на зеленом фоне расположенного сзади холма. Туда направился Бартек, таща на плечах тонкую свою плиту и все принадлежности маляра. А по пути не раз чесал голову, так как в ней рождались странные и трудно исполнимые планы.

Собственником нового двора был бывший управляющий барина (или эконома); часть деревни он купил на собранные правдами и неправдами деньги. Его знали, как человека скупого и пройдоху, которого обойти трудно: а здесь как раз Бартек задумал нечто в этом роде. Приблизившись к воротам, наш путник замедлил шаги, желая, очевидно, где-нибудь встретиться с новым помещиком. Он рассчитал правильно, а возможно, что ему помог случай, но как бы то ни было, а хозяин в белом кителе появился в тот момент, когда Бартек, по-видимому, уже проходил мимо двора.

— А! Да будет прославлен Иисус Христос!  
Копа<sup>1</sup> лет, как я не видел вашу милость.

---

<sup>1</sup> Обычное христианское приветствие у католиков, до сих пор употребляющееся в народе. «Копа» — означает 60 — следы шестидесятичной нумерации.



Ваша милость очень польстила вновь испеченному дворянчику.

— Во веки веков! Это вы, пан Бартоломей, ответил старик, не оставаясь в долгу. — Как поживаете?

— Скверно! — подумал Бартек: — за вашу милость платит наличными, не хочет остаться должником; пожалуй, ничего не добьюсь. — Э, как всегда, — сказал он громко, — как горох при дороге. Ба, да что я вижу? Да вы, барин, выстроили прекрасный дом! Что за дом! Что за дом! воскликнул со все увеличивающимся восторгом, словно впервые его заметил. — Ей Богу, во всем околотке ничего подобного не найти. Вполне барская усадьба!

— А что же вы думали? — ответил, улыбаясь, бывший эконо́м, приятно польщенный.

— Ну вот теперь ваша милость настоящий барин, помещик!

— Видишь, голубчик, Бог наградил меня за труды и благословил мои добрые старания. Но к чему на старость хлеб, когда зубы почти исчезли.

— Рассказывайте! Ой, ой! Сто лет вам прожить! Дай мне, Господи, такие зубы, лишь бы не сглазить.

Тут перекрестился и добавил, мину́ту

---

помолчав:

— Все-таки тут одного не хватает. Нехорошо, нехорошо, ей Богу, нехорошо: и неокончено, и не по-барски.

— А что же тут неоконченного, пан Бартоломей?

Бартек вторично сделал кислое лицо, покачал головой.

— Видел я, — словно говоря сам с собой, — много барских домов, но нигде без этого не было. Разве, что отложено на потом; но и так нехорошо.

— Что ты там шепчешь: нехорошо?

— А то как же? Дерево не крашенное! Ставни, окна, рамы, все посохнет, потрескается, покривится, а потом мигом прогниет.

— Почему? Дерево сухое, осенью срублено!

— Пустяки, осенью? Ничего не поможет, раз не крашенное.

— А! Так ты думаешь, что я буду красить?

— Не знаю, но если б вы делали совсем по-барски и хотели сохранить надолго, то надо бы непременно. В каждом порядочном доме красят.

— Пан навязывается на работу!

— Ха, ха! Я? — засмеялся Бартек с хорошо разыгранным удивлением. — Как раз попали! Если бы вы меня не знаю как приглашали и переплачивали, времени не имею, я условился в Защипках.

А в Зацешках жил главный враг бывшего эконома, старый холостяк; вновь испеченный помещик не мог простить ему какой-то обидной фразы, вырвавшейся по случаю сватовства к его сестре.

— Меня пригласили выкрасить весь дом по-новому, совсем по барски. Этот не скупится.

— Хм! Этот пройдоха из Зацешек? — проворчал сквозь зубы шляхтич. — Правда?

— Я даже взял два злотых <sup>2</sup> задатка, — продолжал жмудин; — надо торопиться, я обещал быть там к ночи. Будьте здоровы, ваша милость!

— Подожди-ка, подожди! — закричал экс-эконом. — А какая там будет краска?

— Ну, они-то не жалеют! Благородная! Белая, белая! — ответил Бартек. — Весь дом блейвасом, только сзади красной. А зачем им платить этому пьянице маляру из местечка, у которого краска всегда потрескается и осыплется. Да еще такой дорогой! Подрядили меня. Я немного запрашиваю! Покойной ночи, ваша милость! Надо торопиться, опоздаю.

— Подожди-ка! Видишь сам, уже поздно... — тянул сквозь зубы шляхтич, соображая про себя. —

---

<sup>2</sup> Злотый — 15 коп. В Польше до сих пор считают на гроши (1/2 коп.) и злотые.

До Защишек к ночи не дойдешь. Чего ради так торопиться? Тот дом от тебя не уйдет, переночуй здесь.

Бартек хотя и делал вид, что спешит, однако, не стал долго отнекиваться и ждать трех приглашений; повернул обратно, почесывая голову, словно неохотно... и вследствие своей дипломатической лжи на утро получил работу в усадьбе, несколько десятков злотых вознаграждения, да еще посланные с соломой рабочие покрывали ему крышу. Увидев со двора, как желтеет новая крыша, он с бьющимся живее сердцем окончил кое-как окрашивание и поспешил домой.

Не хватало кладки, окон и дверей. Это обескуражило жмудина: он посмотрел кругом, словно собирая летающие над дорогой мысли, надвинул шапку на уши и с серьезным видом отправился в местечко. Серьезный вид был необходим. Здесь было хуже, чем с соломой: не хватало кирпича, извести и мастера, а вдобавок ко всему — и денег. «Без мастера, сказал он себе мысленно, я б справился. Разве святые горшки лепят? Видел я, как ставят печи немножко понимаю, как кладут кирпич; известь приготовлю. Лопатка — одно пускание пыли в глаза, я это сделаю и деревянной лопаткой. Был бы камень — вот и молоток, а веревка и доска вот и угольник. Но

известь и кирпич — здесь заковыка! Сам не сделаю, надо раздобыть».

Подумал было купить, но подсчитав кассу, висевшую у пояса в кожаном мешочке, и сообразив, что деньги понадобятся на обзаведение хозяйством, не решился купить, а решил раздобыть кирпич и известь собачьим нюхом. Это значило, что хотел иметь, но не платить.

Под местечком, на так называемых Глинках, недалеко от избы Бартка находились еврейские кирпичные заводы; туда отправился жмудин в роли дворового старосты. Он стал расспрашивать о сортах кирпича, о цене, и между прочим намекал, что надо будет свыше двухсот тысяч кирпичей на новую конюшню. Евреи горячо ухватились за это, легко поверив, так как знали, что у старосты кирпичного завода не было. Бартек посмотрел, поговорил и ушел, но так, что его нетрудно было отыскать в городишке. Хаим, старая, опытная лиса, угостил его медом и стал выпрашивать, стараясь узнать, в чем дело. Жмудин прикидывался простофилей, а потом подвыпившим.

— Так ведь знаете, что, — говорил он, откровенничая, — это дело еще не решено. Или будут строить конюшню из кирпича, если дешево достанут, или из дерева.

Еврей увлекся, подозревая какую-то тайну, на самом деле несуществующую.

— Я здесь сам по себе, — продолжал жмудин. — Меня никто не посылал, ручаюсь, никто. Вот так, хотелось самому взглянуть.

— Да вы не скрывайте.

Бартек стал клясться, но так, что тем больше убедил еврея в своем тайном посольстве.

— Что вы ко мне пристали! — защищался будто бы Бартек. — Я ни о чем не ведаю! Я пришел попросту; я сам здесь недалеко строю дом, и мне нужен кирпич, вот я и зашел взглянуть и прицениться. А если бы оказался хорошим, да дешевым, то я мог бы между прочим замолвить словечко господину старосте.

И он так хорошо сыграл свою роль, что еврей окупил надежду поставки двухсот тысяч кирпича для старосты, даровой доставкой тысяч двух хорошо обожженного кирпича в избу жмудина. К счастью, вскоре, действительно, у Хаима заказали кирпич, и еврей так и остался уверенным, что это ему устроил тайком жмудин; потому он стал к нему относиться с большим уважением.

Когда кирпич был уже сложен около дома, Ругпиутис опять почесал голову и стал задумываться насчет извести. Она водилась у капуцинов, и они ее продавали на несколько сот золотых в год, а гашением занимались нанимаемые в местечке работники.

В субботу Бартек отправился к капуцинам, а

так как сам по себе был человек набожный, да и было у него много прошений к Богу, то он ревностно молился. После богослужения пошел в келью настоятеля.

Здесь, поклонившись и поцеловав пояс отца благодетеля, вздохнул.

— А что скажешь, голубчик? — спросил ласково настоятель. — Что так тяжело вздыхаешь?

— Я, батюшка, пришел к вашей милости посоветоваться.

— Ну, о чем?

— Да вот, чтоб ваша милость меня выслушали.

— Почему же не выслушать, голубчик? Если смогу посоветовать, с удовольствием.

— Я видел сон, батюшка!

— О, о! Сон — морок; Господь Бог — вера, голубчик.

— Да я это знаю, но сон странный уж очень.

— Например? — спросил настоятель, нюхая табак. — В чем же дело?

Бартек опять вздохнул, заломил руки и поднял глаза к небу.

— Должен я вам сказать, батюшка, что сам я человек бедный, сирота. Староста привез меня с собой из Жмуди, а так как я ему верно служил и делал, что мог, так вот он дал мне кусок земли, недалеко отсюда, около лесу. Я и построил себе

избу собственна руками, с большим трудом. Достал я и кирпича на печку, а мастера и извести не хватает. Особенно известь не дает мне спать и есть, а купить ее не на что. Так вот вчера, повздыхав насчет этой извести, которой из пальца не высосешь, да и неизвестно, откуда ее взять, так как я даже не слышал, чтоб можно было ее достать где-нибудь ближе двух миль...

Настоятель улыбнулся и снова понюхал табаку.

— Вчера я так с этим горем и уснул. Как вдруг во сне вижу мою покровительницу, появившуюся в светлом облаке, которая отчетливо мне говорит: «То, чего тебе так хочется, найдешь у капуцинов. Завтра помолись в костеле, а затем иди к настоятелю, поклонись ему в ноги и получишь, чего хочешь. Он тебя поймет, выслушает и даст». Я проснулся весь в холодном поту, помолился, и вот к вам с поклоном.

Настоятель весело засмеялся.

— А знаешь, — сказал он, — верно это так, как говоришь, и я тоже припоминаю, что и мне был сон, чтобы дать тебе извести. Только вместе с тем я получил приказ с неба, чтобы за каждый мешок всыпать тебе тридцать ремешков с капуцинскими огурцами.

Бартек побледнел.

— Этого рода сны надо свято исполнять, так



как в них, очевидно, небесное вдохновение, — добавил настоятель. — Сколько тебе надо мешков этой извести, голубчик?

Бартек, почесывая голову, думал: как тут выкрутиться? Но не хватало комбинаций. Настоятель в душе смеялся над выдумкой жмудина.

— Что-то не могу сосчитать, — наконец, ответил Ругпиутис. — Но знаете что, ваша милость? Я бы просил пока дать известь, а за ремешками я приду потом, когда буду знать, сколько мне следует.

Посмеявшись вволю над хитрым мужичком, настоятель охотно дал ему известь и вместе с нею прочел нравоучение, чтобы не просил милостыни, когда может работать. «Трудись, милый мой, — сказал монах, — ты не глуп, здоров, силен, молод, тебе легко заработать; стыдно и унижительно прибегать к хитростям и фокусам».

Вместо обещанных ремешков Бартек получил работу: ему велели выкрасить заново двери на кладбище и решетку на хорах в костеле.

Теперь, имея весь материал, жмудин принялся за работу; но дело не очень-то клеилось. Он не мог вспомнить, как надо было класть печь, и не справился с задачей. Поэтому, бросив импровизированную лопатку и линейку, пошел в местечко. Там он провел три дня, угощая табачком всех каменщиков, к которым вдруг почувствовал

особое уважение, и в их обществе проводил время, приглядываясь к работе и рассказывая им то да се. На четвертый день вернулся восвояси и решительно принялся за печку. И хотя его кладка была не очень ровная, хотя труба не попала в оставленное нарочно в середине крыши отверстие, но кое-как дело было сделано. С печкой возни было много, но поломав голову, руки и кирпич, справился и с нею.

Изба была построена, но дверей, окон и столов не хватало. Закрыв пока главный вход наскоро сколоченными воротцами, Бартек еще раз отправился в путешествие.

«Теперь мне больше всего нужна дружба столяра, говорил он себе. Славный это народ, столяры! Добродетельный и очень нравственный, не то что каменщики, которые кушают с евреями и водят с ними дружбу. Правда, столяр любит выпить, но кто не без слабостей? Каменщики, особенно теперь, когда печка готова, кажутся мне ужасными варварами.»

Он мысленно сделал обзор всех столяров в местечке, но, видно, не мог ни на одного рассчитывать, так как озабоченно покачал головой. Все дела с мещанами легче всего завязать в трактире. Бартек уселся в одном из них и ждал счастливого случая. Он верил в случай, в счастливую судьбу, но называл набожно Провидением тот фатализм, которого видимость

так его манила.

Мы часто так обманываем сами себя. Счастье настолько улыбалось Бартеку, что он ждал и дальнейших успехов.

Под вечер в трактир вошла с бутылкой из-под водки дочь цехового мастера Луки, Юстыся, с которой Бартек был знаком и раньше. Следовало непременно за ней поухаживать, а так как после вина это было не трудно, то жмудин начал с: «Добрый вечер, барышня», легко перешел к вопросам о здоровье семьи и, наконец, проводил девушку к дому отца.

Юстыся, единственная дочь Луки, пользовалась большой свободой; желая отблагодарить Бартека за комплименты, пригласила его зайти. Первое знакомство пошло нелегко, так как мастер приписал его не столько прелестям Юстыси, сколько притягательной силе водки, спрятанной под ее передником. Но когда хитрый проныра догадался о причине холодного приема и, поморщившись, отказался от предложенной ему рюмки, а сам принялся ухаживать за Юстысей, положение резко изменилось. Столяр вдруг вспомнил, что Бартек получил отпускную, владел куском земли, и поговаривали, что копил деньги. Поэтому сдержанное вначале обращение вскоре приняло вид большой дружбы, особенно когда Бартек послал за медом и стал ловко расхваливать

столярное ремесло.

— Это ведь кажется пустяк, пустяк! — говорил он в хорошем настроении. — Стоит на пне дерево, этакая толстая, бесформенная, черная штука. А вот примется за него столяр, смотри! Вот выпилил уже бревно, а из бревна выдолбит что угодно: столики, табуретки, шкапчики. Вот, вот! Приятно смотреть. Это так искусство! Не велика штука каменщику набрать кирпич, сложить и что-то там построить, и бобры тоже строят. Столяр, по мне, вот человек.

За медом разговор стал еще более приятельским и — слово за слово — жмудин рассказал всю историю своей избы, громко названной домом, но с некоторыми поэтическими изменениями и дополнениями.

— Гнездышко стелется, — добавил он, наконец; — а там придется подумать и о птичке. Человеку скверно жить одному. А будет двое, так будет все.

Мастер принял эти слова, как ловкий подход к Юстысе, особенно, когда уже знал о поставленной печке и выведенной трубе. Что же касается Юстыси, то она по некоторым соображениям, весьма важным, но неподлежащим оглашению, должна была непременно выйти замуж, но не в местечке, где ее слишком хорошо знали, а где-нибудь подальше. Поэтому поставили силки

для Бартка, а тот под видом дел провел несколько дней в местечке, захаживая в то же время и к стекольщику, с которым сговорился относительно окон, а взамен обязался выкрасить ему два шкафа. Что они должны быть непременно выкрашены, постарался убедить стекольщика. Еврей удивлялся, как он до сих пор об этом не догадывался.

Со столяром было трудно — надо было ухаживать за дочерью, а Бартку бледная Юстыся не очень-то нравилась, да и боялся, что потом будут к нему предъявлять разные странные требования и велят жениться. Юстыся, опасная сирена, искренно желая выйти замуж, так подлаживалась к Бартку, что жмудин начал думать об опасностях своего положения. Напрасно пытался он вести свои любовные дела шагом: она тащила его к цели галопом. История дверей и скамеек могла закончиться трагически. Жмудин подумал, обмозговал все и вечером после двухнедельного проживания в местечке внезапно исчез.

Вернувшись домой с рамами под мышкой и купленными столярными и плотничьими инструментами, принялся Ругпиутис лично за скамьи, столы, двери и полки. Дело было нелегкое: свежее дерево кривилось и ломалось в его неопытных руках, но все-таки Бартек закончил, что начал, поздравляя себя, что вовремя проявил осмотрительность, не то мог слишком далеко уйти

в своем увлечении столярным делом и Юстысей. Какой-то добрый дух, очевидно, заботился о нем, так как избавил его еще от одной опасности. Спустя дня три после бегства из местечка, Бартек был занят выстругиванием досок на липовый стол, когда с порога избы увидел издали идущую по дороге женщину. Предчувствие шепнуло ему, что это Юстыся, погнавшаяся за ним и считавшая его уже женихом. Бартек еле успел прошептать: «и не введи нас во искушение!», бросился живо наверх под крышу, втащил за собой лестницу и зарылся в сено. Вскоре послышались шаги, потом громкий зов и веселая песенка.

Юстыся (ее прекрасно было видно с чердака), одетая по-праздничному, свеженькая, улыбающаяся, в красном корсете, накрахмаленной юбке и белой рубашке, с одетым поверх синим камзольчиком, стояла у порога и звала громко:

— Пан Бартоломей! Пан Бартоломей!

Бартек все время шептал: «И не введи нас во искушение!» Приглядываясь к Юстысе, обливался холодным потом.

Девушка, напевая, уселась на пороге поправить чулки, потом заглянула в комнаты, осмотрела весь дом как уже собственный, не оставила без внимания ни одного уголка, даже взглянула на чердак, где мерз бедняга Ругпиутис.

Подождав довольно долго, гостья положила

наконец на самом видном месте колечко со стеклышком и медленно, очень медленно, все время оглядываясь назад, пошла обратно в местечко.

Бартек, весь разбитый, слез в избу, и то не скоро: он долго еще боялся возвращения настойчивой девицы.

Тем завязавшийся роман и окончился, так как Юстыся, не будучи в состоянии дольше ждать, четыре недели спустя вышла замуж за подмастерья, пришедшего издалека и поступившего на службу к ее отцу. Бартек появился только в день свадьбы, прикинувшись, что возвращается из далекого путешествия, куда его по делу посылал староста, и так хорошо притворялся убитым горем, что Юстыся (добрая душа) поверила ему и осталась на долгие годы верным другом. Благодаря ее влиянию, послушный супруг даже поправил кое-какие столярные недочеты в домике Бартка. Итак к зиме изба была закончена, снаряжена и после освящения (так как жмудин был человек глубоко набожный) хозяин торжественно поселился в ней, гордый своим творением.

Правда, из щелей дуло, печь дымила, ни одна дверь плотно не закрывалась, но это были все маленькие невзгоды при великом наслаждении обладания домом. Чтобы снабдить его всем необходимым, Бартек стал опять пускаться на фокусы, одни вещи кое-как устраивая, другие

раздобывая собачьим нюхом. Так понемногу завелась посуда и припасы. Юстыся, лучший друг Бартка, время от времени посещала его, помогая добрыми советами; он же теперь уже от нее не прятался, так как опасность миновала.

Пришла весна, Бартек стал опять подолгу раздумывать. Как только растаяли снега, он принялся за заборы вокруг своего участка. Главный двор надо было, согласно обычаю, огородить камнями. В этой части Литвы достать камни проще простого. Лежат их тысячи по болотам, на дорогах, различных оттенков, странной иногда формы, то мелкие, то громадные, наполовину зарытые в землю, словно останки какого-то разрушенного мира. Скал, собственно, нет нигде; эти гладкие, скользкие камни, очевидно, пришли сюда с великими волнами потопа и заполнили дно громадного моря, некогда соединявшего Балтийское и Черное моря. Мелкие камни набрать было не трудно, но большие глыбы, предназначенные для углов и основания стены, надо было с усилиями вытаскивать из земли, катить и устанавливать в ряд. Верхушка была уже снабжена материалом; на соседних лужайках удалось нарезать дерн, который пошел на скрепление. Сад и огород Бартек окружил жердями, тоже легко добытым материалом. При помощи друзей две большие, каменные глыбы втащили в



ворота, а третью плоскую красноватого оттенка поместили у порога, выдолбив в ней крестик. Два камня поменьше послужили скамейками на крыльце.

Поковыряв землю лопатой, Бартек посеял в огороде коноплю, лен и яровой хлеб.

— Пара, — промолвил он, берясь за палку и с улыбкой осматривая свои владения, — надо жениться, и жениться богато, иначе не справлюсь. А потом подумаем, как найти средство к жизни.

Заперев двери и поручив леснику старосты, ходившему в соседнем участке леса, наблюдать за домом, Ругпиутис помолился, перекрестил себя, дорогу и четыре стороны света — и пустился в путь.

Он не знал, куда пойдет, но твердо решил вернуться если не женатым, то женихом.

С этими планами, подвернув штаны, привязав к палке новые сапоги и раздумывая о прелестях супружеской жизни, Бартек машинально пошел по дороге в Новый Двор. Он миновал его, не останавливаясь, и пошел дальше по тропинке, вьющейся между холмами, по временам поглядывая на солнце. Он знал, что дорога ведет в Зацишки, но почему он шел по ней, не знал; судя по солнцу, мог рассчитывать, что к ночи будет в деревне.

Местность была красива, но Бартек мало

обращал на нее внимания. Направо высились каменистые, литовские холмы, кое-где покрытые перелеском. Внизу струилась речка, испорченная мокнувшей в ней коноплей, набитыми в дно многочисленными сваями, но все-таки красивая. По воде плавали многочисленные стада гусей, давших имя Зацишкам. Берега речки были покрыты густой зелено-желтой растительностью. Из-за густых деревьев виден был высокий, белый дом. Это были Зацишки. От дома в одну линию были вытянуты крестьянские избы с хлевами, сараями и ригой. Сама усадьба, хозяин которой, как мы знаем, был врагом бывшего эконома, издали выглядела очень прилично. Справа каменная кухня, слева высокая сыроварня с жестяным флюгером и каменная кладовая, дальше амбар, все это было видно сквозь деревья.

Жил здесь старый холостяк, пан Томаш Бурда из Бурдзиц, с сестрой Вероникой, пожилой, но еще не теряющей надежды выйти замуж. Бартек незаметно подошел к воротам, и тут пришлось отгонять палкой и висящими на ней сапогами подскакивающих со всех сторон собак.

Бурда сидел на крыльце. Как все бездельники, караулящие возможность поболтать, пан Томаш был не прочь побалагурить, так как делать было ему нечего, а работать не любил. Увидев прохожего, на которого напали собаки, отогнал их

и кивнул Бартку, подзывая к крыльцу.

Пан Томаш (так как наша история не может лишиться его портрета) был типом раньше обыкновенным, а теперь наверно редким. Это был мужчина низкого роста, полный, широкоплечий, со светло-льняными волосами и светлыми глазами, над которыми нависли густые брови. Оспа нарисовала причудливый узор на его лице, теперь постоянно красном. Кроме того, он был весь в веснушках, на лбу было пятно и на лице четыре порядочные бородавки. Несмотря на эти случайные прибавления он считался по-своему видным мужчиной, особенно в то блаженное время, когда — согласно аксиоме — мужчине достаточно быть немногим красивее черта. Это немногое у него имелось, и поэтому Бурда считал себя красивым малым. Одет он был в китель и полотняные брюки, стянутые черным кожаным поясом. Платка на шее летом никто не носил, и пан Томаш терпеть его не мог, называя презрительно хомутом. Напротив брата сидела панна Вероника, маленькая барышня со вздернутым носиком, похожая слегка на брата, но гораздо лучше его внешне, с одной только бородавкой на ухе, что можно было даже посчитать за приращение красоты. Почти белое ее лицо носило следы ежедневного умывания огуречным рассолом. Довольно полная, круглая, розовая блондинка, она любила ухаживание, песенки,

пересуды, большие собрания, танцы, молодежь и т. п. Надеюсь, вы составили уже представление о панне Веронике, подобных которой капризных блондинок, сегодня веселых, как птички, а завтра молчаливых, как рыбы, у которых слезы и смех всегда наготове, так много на свете! Кто же из вас не знал, по крайней мере, хотя бы одной панны Вероники?

Брат ее любил охоту, кутеж, иногда рюмку в хорошей компании, но главным образом в нем жила страсть волочиться за прекрасным полом. Всю свою жизнь он влюблялся, бегал и ухаживал за дворовыми девушками покрасивее, да и за сельскими тоже, если попались ему на глаза. Панна Вероника делала вид, что не замечает этого и оставалась нейтральной даже тогда, когда пан Томаш забирался на женскую половину, находившуюся в ее полном ведении. Эта снисходительность панны Вероники снискала ей уважение и прочную дружбу брата. Как знать, не было ли в ее поведении немного расчета? Так болтали соседи похитрее, полагая, что сестра закрывает глаза на поступки брата, чтобы закрыть тому путь к женитьбе, а потом получить после него наследство. Панна Вероника лет на десять с лишком была моложе пана Томаша, а тот считал, что ему (понятно, когда его заставляли) лет около сорока. Но это были лишь разговоры и

предположения, каких в деревнях много.

Подвергшийся нападению собак и освобожденный от них одним лишь словом хозяина, Бартек подошел к крыльцу с обычным приветом: Да будет прославлен!

— На веки! А откуда, голубчик?

— А! Так ваша милость меня не узнали?

— Далифур (обычное выражение Бурды), фалифур нет, голубчик. Что-то мне вспоминается, но, но... Э! Не со старостинского ли двора.

— Да, да, раньше, — ответил Бартек, — а теперь собственник участка и дома, а для вас маляр по профессии. Я выкрасил весь дом в Новом Дворе, правда, только красной краской.

— У этого прощелыги! Пройдохи! Новоиспеченного шляхтича и помещика! У этого...

— Шкуродера! — добавил Бартек.

— Ха, ха! Великолепно, ты прав! Шкуродер! Отец его торговал лошадьми, а сын дерет шкуру с людей. Иначе его теперь и называть не стану. Сестрица, велите дать ему рюмку водки, а как дворовому старки. Но что тебя сюда привело?

— Ищу работы, может быть у вашей милости найдется?

— Там посмотрим. Расскажи-ка мне сперва, что там творится в этом Новом Дворе?

Бартек понял, что ему придется выкрасить в черный цвет Новый Двор, не щадя и хозяина; а так

как в действительности хорошего о нем сказать было нечего, то он распустил язык вовсю.

— В Новом Дворе, — начал он, иронически улыбаясь, — как всегда в Новом. Все новое, барин, как с иголки, сапоги новые, потому что не так давно ходил в лаптях, и панство новое, потому что недавно перед господами снимал шапку до земли. Люди ропщут, пан целый день ругает; одно за другое не держится. Хочет сделать что-нибудь по-барски, да не клеится, везде из-под панского кунтуша торчит экономский арапник. Купил вот бричку после покойного священника из Хорохорова, чтобы не ездить, как раньше, в колымаге.

Пан Томаш слушал, смеялся и все подбивал Бартка на дальнейшие рассказы. В конце концов так ему понравились жмудские остроты, что пригласил Бартка переночевать и весь вечер продержал его у дверей своей комнаты, угощая пивом и водочкой, к которым у Ругпиутиса было какое-то природное стремление.

Утром нашлась какая-то работа, из-за которой пан Томаш удержал Бартка. На самом деле ему хотелось поболтать, причем не надо было считаться со словами, каждый вопрос сопровождался желанным ответом, шутка появлялась по заказу, а свободный смех звучал все время. Поэтому пан Бурда просидел все утро около приготавливающего

краски Ругпиутиса, а после обеда, отдохнув, опять вернулся к нему. Дворовые, видя как высоко барин ценит таланты, с почтением смотрели на великого человека и раздражались смехом, как только он раскрывал рот, настолько были уверены, что каждое его слово стоит внимания и аплодисментов. Бартек, растирая краски и разговаривая живо и охотно, в то же время бросал повсюду взгляды так, что ничто не укрылось от его внимания. На первый взгляд он был больше занят работой, на самом деле следил за всем окружающим. Фигуры, движения, привычки окружающих дворовых подметил он уже сразу, на другой день, и знал, кто из слуг является любимцем Бурды, кому протезирует барышня, знал все домашние дела. Эти наблюдения он не то, что делал нарочно, они запечатлевались сами в силу привычки, в роде развлечения, которое может быть на что-нибудь и пригодится. Так работая, под вечер, вдруг рот Бартека остановился, голова приподнялась, шея вытянулась; он стоял пораженный. Причиной такого удивления явилась молодая девушка, идущая по дороге от коровника к дому. Ей было лет 18–20 (свежий цвет лица мешал точно определить возраст, так как противоречил другим приметам); темные волосы, черные глаза, небольшой рост, красивая фигура — и при этом походка и вид настоящей барышни. Таким прекрасным видением появилась Франка перед

глазами Бар-тка. Черные длинные волосы, заплетенные в две длинные косы, спускались на бледно-розовое платье и черный передник; ножки были обуты в черные сапожки, выделяющиеся на фоне светлых чулок. Она показалась нашему Бартку по крайней мере племянницей барышни. Правда, она шла из коровника с ключами в руках, а за ней две здоровые девушки, смеясь и хихикая, несли громадное ведро с молоком; но в Литве часто и барышни ходят к коровам. Бартек взглянул почтительно на прекрасную девушку, которая также бросила на него взгляд и видя, как он не отводит глаз, улыбнулась, но сейчас же спрятала улыбку. Подошедший как раз Бурда поймал Бартка с поличным.

— Эге! Так ты уже, далифур, заглядываешься на моих девушек? — вскричал хозяин со смехом.

Пристыженный Бартек начал решительно растирать краски и искать ловкого ответа. Ему не хотелось дать повод думать, что он лишился находчивости по какому бы то ни было случаю, а чувствовал, что выглядел он довольно глупо. Кроме того, ему казалось, что эта девушка должна стоять неизмеримо выше его; а тот, кто знает литовские обычаи, обычно скромные одеяния деревенских барышень и их хозяйственные наклонности, не будет поражен его ошибкой. Это была ошибка, вскоре выясненная хозяином.



— Кто же это попал в ваши глаза? — спросил Бурда: — строгая Настя, любимица ревнивого эконома, или румяная Параша, которую обожает гуменный Федор, или сама Франка?

— Все три, — ответил оправившийся Бартек.

— Ого! Далифур! Сразу слишком много! — воскликнул, расхохотавшись, пан Томаш.

— Для глаз нет, — ответил жмудин, наклоняясь над работой.

— А правда, что Франка красавица? — спросил старый холостяк, причмокивая.

— Которая же это, ваша милость?

— Будто не знаешь! О! Тоже фронт! Розовая юбка, красивая голубка! — добавил Бурда, довольный рифмой и выдумкой, прищурив один глаз.

— Королевская добыча!

Пан Томаш покрутил ус.

— Верно! — промолвил он. — Знаешь что, — добавил, словно внезапно надумав, — у тебя дом, вижу, что ты не прочь, я тебя посватаю, женись и конец.

Бартек широко раскрытыми глазами взглянул на Бурду, считая его слова хозяйской шуткой и пожал плечами.

— Высокий порог для моих ног! — ответил он вздыхая.

— Далифур нет! Сирота! Моя сестра взяла ее

из милости на воспитание. Конечно, выдавая замуж, дает ей немного денег и кое-что на первое обзаведение. Вот и готова вашеству жена, а что!

— Слишком уж на барыню похожа.

— Э! Э! Только издали!

— Хм! А вы ее знаете и вблизи? — спросил иронически Бартек.

Пан Томаш взял его за ухо.

— Каналья! Откуда такие помыслы?

— Я служил при дворе старосты, этого довольно.

— Но у меня совсем по иному; у меня этого не водится.

— Ох, ох! — проворчал жмудин, наклоняясь еще ниже. — Знаем мы вас! Шляхта, когда едет на праздник в Хорохово с дочерьми, старательно объезжает Защишки.

Пан Томаш хохотал вовсю.

— Относительно Франки не бойся: это мне запрещено. Она фаворитка моей сестры, с малолетства около нее и днем, и ночью.

Бартек раздумывал.

— Чертовски красива, — промолвил он, — но слишком выглядит барыней.

— А работящая, — добавил пан Томаш, — а кроткая, как голубок!

— Что же вы ее так расхваливаете, словно испорченный товар?

— Шутка шуткой; женись, правда, — приставал Бурда.

— А работающая, — добавил пан Томаш, — а кроткая, с деньгами, коровами, лошадей, овцами, сундуками — словом, очень богатая!

— Франка не на шутку получит приданое, — ответил хозяин, настаивая.

— Эх, если бы это не вы рекомендовали, — засмеялся жмудин.

— А чем я мешаю? Найдешь во мне опекуна, и больше ничего.

— И друга дома, да?

Оба расхохотались, и этим разговор кончился. Бартек вечером отправился на разведку. Равнодушно, между прочим, стал расспрашивать про Франку, пока избегая с ней встречаться. Но все в один голос, словно сговорились, расхваливали ее, не находя ни одного пятнышка.

— Знаете что, — сказал Бартек эконому, выслушав его восторженный отзыв, — вам следует на ней жениться.

— Разве я дурак! — ответил собеседник, махнув рукой!

— Ну! Почему?

— Вы вот будто бы такой хитроумный, — начал эконом с дипломатическим видом, — а такой простой вещи не можете пронюхать. Франка нравится барчуку (барчуками зовут холостяков хотя

бы до семидесятилетнего возраста), но он не смеет ухаживать за ней, так как девушка горда, как королева, и только бы его пристыдила. Поэтому он притаился и ждет, а когда он снабдит богатым приданым, смягчит и поручится за какого-нибудь глупца, тогда Франка будет его! А муж?.. О, схватится за голову!

— Такие дела! — воскликнул Бартек. — Вы правы, это вполне возможно.

— Барчук и мне ее подсовывал, и другим еще, — добавил рассказчик; — но мы сами с усами. Франка красива, славные две коровы, прекрасная пара лошадей и прочее, но, но... Это «но» не очень вкусно. Я не люблю дележки.

Бартек серьезно задумался, взял медленно фуражку, бросил всем вокруг «покойной ночи» и ушел, покачивая головой и гадая на пальцах: сойдутся, не сойдутся.

— Э! — наконец, промолвил он: — кто не рискует, ничего не имеет! А ну! Попробую! Если б и случилось самое худшее, так я ведь не первый; а это такое глупое несчастье, что плюнуть на него, а не расстраиваться.

Случайно встретил Франку и поздоровался, сняв фуражку: «Добрый вечер!»

Девушка улыбнулась и, по-видимому, не была настроена против разговора. Бартек медленно проводил ее до соседнего забора и постарался

проявить все свое остроумие, развязность и веселость. Гордая и серьезная Франка несколько раз, смеясь, блеснула белыми зубками. Этим на сей раз окончилось.

На другой день маляр несколько раз бросал краски и подходил в кусты сирени поговорить в окошко людской. Франка тоже проходила мимо с ключами гораздо чаще, чем накануне. Хитрый жмудин сообразил, что она ходила в погреб по обходному пути, ссылаясь на то, что там суше.

На завязывающиеся отношения пан Томаш смотрел весело и подшучивал над маляром. Жмудин улыбался, но не отнекивался и не спорил, когда ему говорили, что он влюбился в Франку. Действительно, стыдиться было нечего.

— Ну, что же, однако, будет? — спросил Бурда неделю спустя, когда уже все кругом шептались о романе между красавицей девушкой и жмудским медведем, как его называли.

— А что будет! — ответил Ругпиутис. — Медведь, как всегда медведь, вытащит борт и уйдет в лес.

— О! Так нельзя, мой милый! — поспешно и морщась, ответил пан Томаш. — Медведю могло бы попасть.

— А как же?

— Пусть медведь возьмет борт на плечи и уйдет в лес.

— Знаете, как ловят медведей в пуши около Медник?

— Нет.

— Я вам расскажу! Около борти устраивают клетку, мишка лезет за медом, а попадет в плен.

— А зачем ему хочется меду?

— Ба! Верно! Но если бы медведь взял с собою борт, то, что он получит сверх того?

— Я тебе не раз говорил.

Бартек покачал головой.

— Знаете что, ваша милость! Если б я женился, а кто-нибудь. Давая приданое жене, хотел окупить мое бесчестье...

— Ну, тогда? — с натянутой улыбкой спросил пан Томаш.

— Я бы не уступил.

— Кто же тебе наговорил глупостей?

— Это так, само прилетело.

— Откуда? Не иначе, как глупые языки наплели.

— О, это ветер принес, ваша милость!

— Ну, так пусть ветер и унесет. Бог знает, что и зачем выдумываете. Я хочу дать приданое Франке из-за Вероники. Я лично никаких домогательств не имею.

Бурда высказал это естественным тоном, пожав плечами; но внимательный жмудин подметил бегающее выражение глаз говорившего.

— Никаких домогательств? — переспросил Бартек, прикинувшись простофилей.

— Оставь же меня в покое! — ответил Бурда с презрительной ужимкой. — Ведь этот ребенок у меня вырос, да и не кажется мне такой красавицей как вам, потому что с малолетства была у меня на глазах.

— Ну, если так, то я просил бы вас... — поклонившись в ноги; воскликнул Бартек, — отдать мне Франку и замолвить за меня словечко у барышни. Выдайте ее за меня замуж. У меня своя земля, свой дом (Бартек никогда не называл избу избой), есть и средства к жизни.

Радостно сверкнули глаза господина Томаша; он сейчас же отправился к сестре. Бартек бросил работу и пробрался к людской, из-за сирени делая сигналы Франке.

Франка сейчас же выбежала.

— Ну, что? — спросила она.

— А что! Слово сказано.

— А пан?

— Считает меня дураком, пошел радуясь, словно на свет родился. Но помни, красавица!

— Ведь я дала слово!.. — гордо ответила Франка.

— Я сегодня уже уйду будто бы домой, но уже с сумерек буду ждать в уголке. Если бы барину пришла в голову какая-нибудь странная фантазия,

дайте мне сигнал или позовите, а я явлюсь сейчас же.

Обменявшись этими словами, быстро разошлись. Когда пан Томаш вернулся во флигель, уже Бартек, задумавшись, очень прилежно чистил кисти.

— Радуйся, Ругпиутис! — сказал он: — барышня согласна, я тоже, понятно. Дадим Франке пятьсот злотых, две коровы, две кобылы с жеребьятами, десять овец, и приличное приданое. Надо что-нибудь сделать для сироты, отпуская ее в свет. Сегодня вас обручим, а после оглашения свадьба. Но помни, что надо уважать жену, чтоб мы не жалели того, что для вас делаем.

Жмудин бросился в ноги, по-видимому, очень тронутый и поднявшись, сказал:

— Ваша милость, если б не один недостаток, я бы был уверен, что Франка будет со мной счастлива.

— Ну, в чем дело?

— Мы все уже в роду чрезвычайно ревнивы — прости, Господи! — настоящие черти и ужасно мнительны. Так уж мы родимся все Ругпиутисы, очевидно, это с кровью переходит. Дед мой убил жену в пьяном виде из-за каких-то неясных подозрений. Отец часто свою первую бил зверски и без причины. Дядя сильно изранил управляющего, который ухаживал за его Феклюшей.



— Ну, и ревнуй, если хочешь! — ответил сумрачно пан Томаш, догадавшись, к чему клонится разговор. — Какое мне дело, что вы так ревнивы!

И ушел, посматривая косо на Бартка. Вечером устроили обручение с блеском и треском. Панна Вероника иронически поглядывала на Франку, как всегда гордую и молчаливую, на веселого жмудина, на брата, все время нашептывавшего девушке. Томаш, впрочем, вел себя прилично и заметив, что Ругпиутис смотрит на его нашептывание, только издали поглядывал на чернобровую красотку, словно думая:

— Чему быть, того не миновать!

Старая дева, казалось, прекрасно знала о всех возможных последствиях этого брака; это видно было по ее насмешливому выражению и блестящим глазкам. Бартек неизменно выказывал полное доверие и радость, ничем не омраченную, не проявляя даже следа подозрительности. Франка была красная, как вишня, робкая, но как всегда гордая и неприступная. Дворовые хихикали, пальцами показывая то на нее, то на барина, то на Бартка; последний видел все, даже насмешки, но делал вид, что ничего не замечает. Веселье и танцы затянулись до поздней ночи; жених ни на минуту не терял невесты из виду; когда все разошлись, подождал, чтобы пан Томаш ушел в свою комнату,

и тогда лишь отправился спать в кусты сирени под окнами девушек.

Утром попрощался со всеми, взял свои вещи и отправился по направлению к Новому Дворцу и своей избе. Пан Томаш щедро расплатился, попотчевал водочкой и проводил, не умея скрыть, насколько он рад его уходу.

Теперь он начал как следует ухаживать за Франкой, которая будучи предупреждена, ожидала этого. Сестра между тем, занялась приданым, которое могло поспеть не так уж скоро, и даже из-за него пан Томаш настаивал, чтобы отложили свадьбу. По его словам, надо было снабдить сироту как следует. Между тем, он поджидал, не теряя из вида ни одного случая, могущего быть использованным.

Печальная и грязная история! Но если бы мы захотели выбросить из жизни и романа все неприятное и противное, что же бы осталось? Так мало прекрасного и чистого! Жизнь состоит из света и тени, а повесть, зеркало жизни, должна не раз пройти по грязным закоулкам, если хочет дать полную картину того, что зовется миром и человеком. Сколько погибло девушек благодаря подобным Бурдам, которым ничего не стоит сманить молодое создание уговорами, напоив, силой!

На этот раз, однако, планы пана Томаша

рухнули. Девушка на все его нашептывания отвечала молчанием почти презрительным или смехом, что еще хуже. Иногда принимала сладкие словечки за шутку, иногда почти сердилась. Бурда привык к легким победам и не мог понять ее поведения. Время шло быстро, срок оглашения был близок, и приданое, хотя все время к нему прибавляли то да се, чтобы затянуть, тоже было почти готово. Каждую ночь Бартек незаметно, беспокоясь, ночевал под окнам невесты.

Наконец, доведенный до крайности, пан Томаш однажды решился ночью пробраться в комнату сестры, куда недавно переселилась Франка, несмотря на замечания панны Вероники. Почему-то старая дева никогда не разрешала на ночь запира́ть дверь на ключ. Сама она спала в темном алькове с отдельной дверью. Брат, заботясь об удобствах сестры, недавно велел ей устроить таким образом отдельную спальню. Служанка, которую теперь заменяла Франка, спала в прихожей на большом сундуке данцигской работы; на него клали сенник и переносную постель.

Все при дворе легли спать; послышался скрип дверей и в то же время раздался пронзительный крик девушки:

— Вор! Вор!

Этот громкий голос раздался всюду. Панна Вероника, боясь до смерти воров, спряталась с

головой под одеяло. Почти сейчас же несколько человек с огнем появилось в окнах и у дверей. Бартек, одетый по дорожному, влетел в комнату с подсвечником в руках.

— А! Это барин! — воскликнула презрительно Франка.

— А! Это ваша милость! — повторил, низко кланяясь, жмудин. — Если бы панна Францишка ни знала, то не кричала бы так громко.

Так говоря, он улыбнулся, но горько.

Пан Томаш, страшно сконфуженный, забрался в угол и всячески подмигивал, чтобы его не выдавали. Он стыдился и сестры, и людей. Не то по расчету, не то вследствие каких-то остатков стыда, пан Томаш сам развратничал, но окружающих держал по внешности очень строго. Подозревал он всех, хотя чаще всего без причины, наказывая жестоко, а сам прикидывался невиннейшим человеком, самым примерным, хотя все кругом знали, как он себя ведет и что говорит. Но надо было делать вид, что ничего не знают. Бартек, входя в его положение, оглянулся, и со смехом сказал будто бы стоящим за ним у дверей:

— Это пустяки, пустяки. Кошка сбросила палку и наделала шуму. Добрый вечер панне Францишке! Как раз я проходил мимо, возвращаясь из Крумли, и услышал ее голос...

Тут он дал знак барину, что все уладил. Люди

ушли, свет был потушен, и пан Томаш с Бартком ушли потихоньку; последний обратился к Франке:

— Пусть все-таки барышня закроет двери на ключ, а то кот иногда и ручку откроет, если сыр пронюхает.

— Ваша милость, — обратился Бартек к помещику, когда остались одни, — что же будет?

— А что может быть? Спасибо вам и...

— Ваша милость, как я вижу, не сдержали слова и слишком рано захотели наградить меня рогами. Я под знаком козерога не родился. Не годится мне жениться теперь на Франке.

— Хм! Хочешь торговаться?

— Зачем тут торг, когда это такое дело, что заплатить за него нельзя.

— Да я пальца ее не коснулся!

— Рассказывайте, а я знаю, что знаю! Вот и все!

Пан Томаш расхохотался, но сейчас же стал клясться:

— Далифур, пан Бартоломей, голова у меня болит, я хотел взять лядданских капель...

— Рассказывайте, а я знаю, что знаю! — повторил Бартек. — Теперь же я бы просил вашу милость оставить это. За то, что случилось, не мешает мне рот заткнуть, не спорю, не то, если люди — и я в том числе — начнут болтать... Вы ухаживаете за Магдаленой Снопко из Сухой Вербы,

знаю. Я сам могу вам испортить дело разговорами. А там к этому чувствительны.

Сказав это, Бартек поклонился и ушел. Пан Томаш, сердитый и обескураженный, перестал делать попытки, хотя мысленно решил отомстить жмудину. Ему лезли в голову разные планы: то отказать в приданом, то дать старых коров и тощих кляч; но он рассчитывал на будущее, не хотел настроить враждебно Франку — и бросил их. На свадьбе проявил великодушие, и молодые уехали с подарками, с благословением панны Вероники, вполне счастливые.

Пан Томаш стоял на крыльце, глядя на уезжающих с довольно глупым выражением, почесывая голову. Сестра улыбалась над чулком, а он шептал:

— Люли, люли, надули. Далифур, хитер этот жмудин... Пожалуйста, панна Вероника, рюмку старки... Черт же знал, что он такой ловкий.

Между тем, как Бурда печалится на крыльце, Бартек на шоссе напевает радостную песню, подгоняет пару толстых лошадей, за которыми бегут здоровые жеребята, а сзади, привязанные к наполненной вещами бричке, поспевают две прекрасные коровы. Жена сидит на зеленом кованом сундуке; кругом нее ласкающий глаз хаос корзин, картонок и т. п. вещей. С боку выглядывает прелестная выкрашенная прялка и прясло.

За ними нанятый пастушок погоняет несколько штук овец и свиней, все время сворачивающих с шоссе в поле. Бартек поглядывает на свою Франку, прекрасную как королева, но какую-то печальную, в раздумье. Но в его глазах, когда он посмотрит на оставленный ими двор, сверкает то улыбка радости, то насмешки. Он не обращает внимания на камни, подбрасывающие колеса, настолько прелестно личико жены. Он то и дело обнимает ее глазами и покачивает головой, словно не веря счастью; потом подгоняет лошадей, торопясь домой. Поздно вечером приехали в Березовый Луг (так называлась местность, где была выстроена изба Бартка) и там застали гостей, приглашенных заранее на торжество из местечка и из двора старосты. Смущенная Франка едва взглянула на разукрашенную избу, расставленные столы и собравшихся любопытных гостей. Была прекрасная ночь, плясали на дворе до утра при луне и лучинах; пьяные отдыхали под деревьями и каменной стеной.

На другой день с утра изба опустела, молодые остались наедине. Бартек, убирая в сенях, задумался.

— Стоит пойти поблагодарить св. Антония за женитьбу; что женился я, так женился. Должно быть верно, что смерть и жена Богом суждена! Кто бы мог ожидать! С такого двора такое сокровище

увезти! Да, это сокровище и драгоценность! А! ангелы на картинах в костеле не так красивы, как она. Степенная, с приданым, все что нужно приносит в дом. Но лучше всего, что тиха как ягненок, послушная и будет мне подчиняться. Буду я барином! Буду я барином!

Так раздумывая, он запел:

— «Мне все ни по чем! Мне все ни по чем!»

Франка уже побывала во всех уголках, хозяйничала в кладовой, в хлеву, даже в конюшне; свои сундуки с запертыми в них деньгами (своим приданым) поставила на кирпичи у изголовья кровати. Повесила образа, привезенные с собой; приготовила обед, накрыла на стол и позвала мужа.

Бартек, заложив руки за спину, прогуливался по двору.

Бартек был всем доволен и в прекрасном настроении. После обеда, вытерши рот и перекрестившись, уселся поудобнее и спросил:

— А где, душенька, ключи от денег?

— У меня! — кратко и сухо ответила жена.

Эти слова сопровождались таким взглядом, что Бартек остолбенел.

— А! а! — промолвил он, — я думал...

— Если нам понадобятся деньги, — продолжала Франка, — то посоветуемся и я дам.

— Посоветуемся, посоветуемся! — повторил, качая головой, Бартек. — До сих пор я искал совета



только у себя.

— Понятно, так как меня не было. Теперь будешь советоваться со мной, — промолвила жена.

— Понятно! — сказал, теряясь, жмудин.

— А то как же!

В глазах и словах Франки было столько воли, несмотря на ласковость и красоту, что Бартек только теперь спохватился, что приобрел себе барыню.

— Ой! Почему вы мне этого раньше не сказали! — заворчал он. — Я бы тогда подумал, стоит ли жениться.

— Теперь уже думать не о чем, — ответила жена. — Я вышла за тебя, так как мне нужно было уйти оттуда, хотя я знаю, что ты франт, любитель выпивки, лентяй, а работаешь, когда захочется, вернее — по настроению. Но с Божьей помощью это все можно переделать.

— А что переделать? — спросил Бартек, все больше удивляясь.

— Будем вместе работать от души, собирать...

— Да какого лешего собирать?

— На будущее, когда придет трудное время.

— А теперь?

— Теперь, если даже придется жаться...

— Сколько тебе лет? — спросил вдруг жмудин, вставая.

— Двадцать первый.

— Не может быть! Должно быть, как октябрьская лошадь, выглядит на столько, но на самом деле гораздо больше.

Франка улыбнулась.

— Будет у тебя дома всего вдоволь, будет хозяйка, помощь, но надо придти в норму.

— Я всю жизнь в норме.

— И забыть Юстысю.

— Черт тебе о ней шепнул!

— Не черт, а люди вчера... Забыть пирушки, водочку, бродяжничество.

— Позволь! — сказал Бартек, у которого в глазах потемнело, так как больше всего любил быть свободным и бродяжить. — Я с тобой с ума сойду. Это что же значит?

— Это значит, что со мной шутить нечего. Тебе ума не хватает, так будешь меня слушать.

— Мне уже и ума не хватает! Ума! А! а!

Жмудин схватился за голову и убежал из избы.

— Господи Иисусе! Что же я наделал! Вот так влопался! А что будет через год, через два, если теперь так?.. Ой, скверно, надо помочь горю.

Ему хотелось немедленно уйти из дому и поискать где-нибудь совета, но свежее молодое личико жены облегчило согласие и подчинение — на время. Хотя Бартек и вздыхал, чесал голову и

часто просиживал задумавшись под каменной стеной, но никак не мог раздобыть ключи от сундука, как ни старался, подмазывался, выискивал, рылся по уголкам, печью.

— Вот я и в дураках остался! — сказал он однажды месяц спустя, и отправился поутру в монастырь к капуцинам.

— Не за известью ли опять, — спросил, посмеиваясь, настоятель, — а может быть за следуемыми огурцами?

— Ой, ой! Хуже, батюшка: за советом, я влез по уши в болото.

— Что же случилось? Печка развалилась?

— Если бы она развалилась!.. Но, батюшка... волку пришлось жениться, так ушам опуститься.

— О-о-о-о, в самом деле! А что же это ты так ошибся в жене?

— Господи, помилуй! Женился я так хорошо, так прекрасно, что даже слишком!

— Чего же там слишком? Может быть, Господь послал потомство раньше срока?

— Спаси, Господи! Это сама добродетель!

— Значит, стара и безобразна, когда ты пригляделся? — про должал монах.

— Лет двадцати, свежа как ягодка, а прекрасна как ангел.

— Ангелов ты сюда не путай... Значит, бесприданница?

— Ой, нет! Для меня так и слишком богата, слишком.

— Должно быть, очень уж глупа, волосы длинные, а ум короткий.

— Если б это я, батюшка, попал на такую! Да вот в том горе, слишком умна!

— Поведения нехорошего?

— Ну да, нехорошего, хочет меня водить за нос.

— Что же, подговаривает тебя к чему-нибудь скверному?

— Конечно, не к доброму; хочет, чтоб я с утра до ночи работал, а что еще хуже, сидел дома.

— О!..

Настоятель начал так хохотать, что даже хватался за живот.

— Смеетесь, батюшка, а ведь известно, что где управляет хвост... Как же возможно, чтобы женщина была главой в доме?

— Так не давай ей распорядиться.

— А если я не могу?

— Видно, дружок, ты слабее. Положись на Божью волю. А раз жена ни к чему дурному тебя не толкает, так ты ее и поблагодари.

— Я думал, что вы, батюшка, дадите мне совет!

— Например, какого же ты ждал совета?

— Я думал, что вы ей выбьете из головы это

главенство. Я бы ее привел сюда. Это ведь даже безбожно, чтобы женщина верховодила и шла впереди мужчины. Известно, батюшка, что как Ева стала распоряжаться, так своим хозяйничанием весь человеческий род сгубила. С тех пор везде, где женщина правит, должно быть скверно... Потому, как меня учил мой духовник, Fe-mi-na...<sup>3</sup> пфе, мина!

— Это верно, — ответил капуцин; — но это зло давно уже стерто, а ты неуместно цитируешь Писание и переводишь латынь.

Бартек почесал голову.

— Ну, так что вы мне посоветуете, батюшка?

— Слушайся жены, пока она ведет тебя к добру, а если бы, не дай Господи, уговаривала тебя сделать что-либо нехорошее, то воспротивься; ты глава дома, ты вправе.

— Я ей и то повторяю, что я глава дома, да вот!.. Она все хохочет. И вот еще! У нее несколько сот золотых приданого, а, ей Богу, копейки я еще из них не видал, деньги держит в сундуке, а мне велит работать, зарабатывать. Я хотел сходить на церковный праздник, помолиться, так ничего мне не дала, чтоб можно было выпить и закусить. Я

---

<sup>3</sup> Femina — женщина. Непереводимая игра слов; мина равносильно русскому «выражение лица».

пропустил праздник; вот и грех. Она готова душу мою погубить. Это уголовщина!

Настоятель, посмеявшись вдоволь, отпустил Бартка и на прощание, закрывая дверь кельи, сказал: «Казак татарина схватил, а татарин его сдавил».

Бартек отправился за советом к Юстысе и, встретив ее на рынке, рассказал свои приключения. Юстыся покачала головой, словно говоря:

— Теперь вдвойне жалею, что ты на мне не женился! А затем:

— Знаешь что, Бартек? Соберись-ка в путь дорогу, да надолго. Прикинься сердитым, скажи, что хочешь ее бросить... Увидишь, как она размякнет. Только на время уйди из дому.

— А пан Томаш? — спросил озабоченный Бартек.

— Он уже к вам не заглянет.

— Э! Кто его знает! Я уверен, что он только ждет моей отлучки.

И словно его кто подтолкнул, прямо из местечка поторопился домой, но подсматривая за женой, пришел со стороны леса. У забора как раз стояла лошадь пана Томаша, а рядом с ней лежала собака.

— Он! Недаром меня что-то кольнуло! — подумал. — Послушаю о чем говорят.

И тихонько подошел к окошку.

Франка громко пела, пан Томаш ворчал. Одна сидела за столом, другой далеко на скамье.

— Скверно! — подумал Бартек, — отодвинулись. Может быть, меня ждут... наверно прикинулись.

Но напрасно простоял он под окном; ничего не узнал и не услышал, кроме как то, что Франка не хотела принимать никаких подарков.

— Ну, и Ирод баба! — прошептал, — ничем ее не уломаешь! Бешеный характер.

И внезапно вошел в комнату.

— А! Ваша милость здесь!.. — воскликнул, словно удивившись.

— Часа два дожидается тебя, — ответила Франка; — хочет дать тебе работу в другом своем имени, которое недавно приобрел.

— Так, так! А пока, ваша милость, будете стеречь мой дом! О, ничего не выйдет.

— Я справлюсь без тебя и сама себе помогу! — ответила презрительно жена.

Пан Томаш условился относительно какой-то ненужной совершенно работы и ворча уехал. Бартек, подученный Юстысей, сейчас же разыграл подготовленную заранее сцену. Жена все выслушала, словно подготовилась к ней, и наконец сказала:

— Ну, хочешь идти, так иди с Богом! Счастливого пути, пан Бартоломей!

Бартек, глубоко обиженный, ушел, таскался по праздникам, пил, но вечером тайком присматривал за женой, но не видел ничего, к чему бы мог придраться. Франка наняла девочку из местечка, старика пьяницу в качестве сторожа, хозяйничала, шила, пела.

Видя, что гнев и уход из дому не помогают, Бартек вернулся. Жена спросила, что он принес с собой.

Бартек гордо ответил:

— Пустой желудок! А если бы у меня, что и было, то это принадлежит только мне, понимаешь!

— Нет, Бартек, — ответила медленно Франка, — что мое, то общее, и что твое — то общее. Но не затем, чтобы транжирить, а чтобы собирать. Да и время подумать об этом, так как вскоре Бог даст ребенка.

Жмудин по привычке почесал голову, но не нашелся ответить и умолк. Рождение сына несколько его умиротворило, власть жены окрепла. Франка вела себя безупречно, работала, всегда была весела и спокойна, храбрая за двоих, все время проявляя свой прелестный характер; Бартек не сумел его понять и оценить. Для него жена, приказывающая работать и сберегать, была невыносима. Поэтому он при всяком удобном случае уходил из дому и неохотно возвращался обратно. Вскоре Бог послал и больше детей, а мать



почти сама их воспитывала, как смогла. Жмудин из своих путешествий редко приносил деньги, прокучивая их, пропивая, а с годами не раз валялся пьяный по трактирам и дорогам. Его характер с течением времени не изменился, но подчинился общему закону развития; его ценили, как остроумного веселого товарища, который умел и ловко выманить деньги, и польстить, и использовать человеческие слабые струнки без зазрения совести. Легко нажитые деньги никогда у него не держались, потому что либо он их пропивал, либо давал кому-либо обобрать себя так же легко, как обирал сам. Очень набожный, не пропуская ни одного праздника, ни одного торжественного богослужения, всегда кончал тем, что напивался, а иногда устраивал и драки. С пьяных глаз ему являлись видения, о которых в трезвом виде рассказывал, как о действительных событиях, явлениях, экстазах и т. п., будучи уверен, что они на самом деле происходили.

Так, например, он рассказывал, что однажды ему явился св. Антоний, угрожал пальцем за то, что не соблюдал поста в течение девяти вторников; в другой раз черти водили его всю ночь под видом лесников, завели в какую-то избу, напоили, дали денег; но на другой день проснувшись он очутился в дремучем лесу, откуда спасся, благодаря молитве, а в кармане оказались осиновые щепки и всякого

рода мусор. То опять черт, его личный враг, повел его к себе в дом, находящийся на болоте, через настил из человеческих костей. Там его искушала чертовка, прелестная женщина, но он ей плюнул в глаза и перекрестился — и в тот же миг все исчезло, а Бартек, подброшенный в воздух, упал в пруд Бурды. К счастью, рыбак спас тонувшего. Сколько бы раз его ни встречали пьяным, всегда он ссылался на дьявольское наваждение и на преследования черта. Все эти бредни народ слушал со вниманием и доверием. Были у жмудина и пророческие сны, умел он угадывать потери и кражи, лечил лихорадку и болезни скота какими-то листочками, заговаривая кровотечения, но всегда с молитвой и какими-то особенными приемами.

Особенно ему нравилось размалевывать что бы то ни было, так как практика была небольшая, и в конце концов на этом он и остановился. А так как красить не всегда находились охотники, то он храбро начал писать ужасные хоругви с мертвыми головами, образа, посвящаемые в приношение святым и т. п. для церквей и деревенских костелов. После нескольких таких попыток стал считать себя художником и втрое больше возгордился. Теперь уже не снисходил красить, разве придорожные кресты, которые, как человек набожный, встретил по пути, напевая набожные песни и часто подвыпивши, усердно мазал в черный, зеленый или

желтый цвет в зависимости от наличной краски.

Что касается его картин, то надо бы перенестись в те первобытные времена, после которых остались на земле бесформенные статуи, и посмотреть эти работы, предшествовавшие истории живописи, чтобы представить себе творения Бартка Ругпиутиса. Случай был единственным его руководителем, рука путешествовала по полотну в надежде, что из бесформенных черточек что-нибудь составит. У фигур руки для удобства удлинялись до колен, лица были вытянутыми, ноги как тонкие жерди, глаза как у китайцев обращены к вискам, носы толстые, а рот двух видов: для женщин маленький и малиновый, для мужчин широкий и красный. В носах большого разнообразия не наблюдалось; кажется, Бартек знал только три категории: длинный орлиный, вздернутый (им пользовался для Иуды и разбойников) и утиный, выгнутый и торчащий. Глаза изображались по-разному: обращенные к небу, опущенные долу и смотрящие прямо. Глаз, видимый в профиль, Бартек изображал — по доброте души — полным и круглым, утверждая, что он не может настолько измениться, чтобы образовать треугольник. Костюмы и платья с резко окрашенными тенями, но бледные в освещенных местах, складывались так странно, что эти складки стоило рассмотреть. В общем на выпуклых местах

клялись темные краски, а на впадинах светлые. Со временем напрактиковавшись, Ругпиутис создал больше типов, которые повторялись у него без конца. Различные олеографии, распространяемые торгующими венгерцами, были большим подспорьем в его занятиях. Самой большой картиной его кисти было Распятие на кресте, преподнесенное им соседнему костелу в Хорохорове, так как капуцины отказались ее повесить; картину приняли с благодарностью. На черном как чернила небе рисовались белые как полотно фигуры, длинные, тощие и изломанные. Вдали молния зигзагами летела на Иерусалим... На главном кресте сверху был наивно помещен жестяной петушок, как это вошло в обычай на дорожных крестах. Другая картина Ругпиутиса — Жертва Авраама — с подписью: «Не уткнешь Аврааме Исаака» известна настолько всем любителям отечественна живописи, что описывать ее лишнее; напомним только, что на эта шедевре Авраам собирается стрелять в Исаака из пистолета, и если бы не ангел, который очень остроумно делает выстрел невозможным, то Патриарх наверно бы попал, так хорошо представил себе художник направленное оружие. Ругпиутис, став иконописцем, возгордился настолько, что стал презирать весь мир.

От дум и пьянства он облысел, что придавало

ему более серьезный вид, увеличивая небольшой от природы лоб.

Жена по-прежнему управляла дома, но путешествующий художник, большую часть жизни проводивший в фантастических паломничествах, уходил из-под ее влияния, и избегая ее, молча протестовал против излишеств власти. Дома он был молчалив и сердит, но сдерживался и вел себя прилично. Больше всего выводило его из себя то обстоятельство, что к жене нельзя было придрататься, и ее поведение совершенно безупречное, не давало ни малейшего повода к ревности Ругпиутис всегда был на положении обвиняемого, не будучи в состоянии стать обвинителем. Это отравляло ему жизнь.

— Если бы она выкинула хоть какую-нибудь глупость! — говорил не раз. — Но увы! Такое уже мое счастье!

Так текли годы у нашего супружества. Господь дал им сына и двух дочерей, которые воспитывались под наблюдением Франки, так как несмотря на нежность, питаемую к ним отцом, привычка к пьянству и бродяжничеству не давала ему долго усидеть на одном месте. В домашнем уединении он начинал зевать, скучал, ворчал, сердился — и в результате хватал палку и уходил в местечко, а оттуда, куда глаза глядят. От поместья к поместью везде знакомства, везде его задерживали

из-за различных талантов гадателя, артиста и сплетника, из-за веселого нрава, и хотя бы не было работы, но его принимали, потчевали в корчмах пивом и медом, и он должен был привыкнуть к бродячей жизни. Соседи привыкли к нему, как к переносному хранилищу сплетен, известий, как к веселому и остроумному собеседнику. Это и сгубило Бартка, поощряя его лень и гордость. Жмудину было в точности известно, куда надо прийти в качестве живописца, куда — в качестве набожного паломника, собрания видений и чудесных снов. Жена плакала, видя, что, кроме детей, ничего больше не собирается; несколько раз заговаривала с ним об их будущем.

— Будущность, моя пани, — говорил в ответ Бартек, — будущность перед ними. Пойдут в свет, вот и все. Как себе постелят, так и поспят.

А мать плакала.

К старости Бартек все больше чувствовал равнодушие к семье и реже появлялся дома. Все чаще появлялись чудесные видения, пророческие сны: все учащались путешествия пьяницы, когда он мог придаваться всю своему пороку. Иногда возвращался, еле держась на ногах, домой, но не получив водки, так как ее никогда не держали в Березовом Лугу, на другой же день отправлялся дальше, раскрашивая по пути деревянные придорожные кресты. Старые поднимал,

наклонившиеся укреплял, обмытые дождем украшал, не забывая внизу написать: Б. Р. реставрировал. Подобно многим грешникам, полагающим, что маленькими хорошими делами покроют все грехи, живописец был убежден, что за эти кресты Бог отпустит ему прегрешения.

Смерть этой оригинальной личности была тоже очень странным событием.

По соседству поселился на время, будто бы ради охоты, приехавший из Варшавы каштеляниц Тромбский, человек еще молодой, воспитанный при дворе Августа III, большой любитель искусств, хороших вкусов, но очень своевольного характера. Насмотревшись на картины и творения искусства в собраниях Августов и их последователя графа Брюля, наш каштеляниц не только понимал искусство согласно эпохе, по указаниям Лересса и Менгса, но и страстно любил его. Приехав в деревню, он нашел свою родину (впервые увидал ее после многих лет) настолько прозаической, так во всем, что делает человек, некрасивой, что это его удивило, опечалило, а потом оттолкнуло. Во многом Тромбский был прав: где бы ни построил, посеял, изменил что-нибудь человек, казалось — везде только думал о том, как обезобразить свою страну. Ни малейшее инстинктивное чувство красоты не руководило его поступками. Красивые в полном смысле слова местности лежали

нетронутыми (и в большинстве остались такими); другие были обезображены или же очень неудачно избраны. Каштеляниц ожидал, что найдет здесь швейцарские шале или немецкие домики, а встретил избы в роде индейских вигвамов, высокие заборы, грязные канавы, строения, больше напоминающие поленницы, чем человеческие жилища. Нигде не просвечивало то божественное чувство красоты, которое живет в человеке, но с трудом проявляется на севере. Что же сказать о людях? Каштеляниц, восхищавшийся неаполитанскими лаццарони, всегда как бы готовыми позировать художнику, здесь морщась отворачивался от наших женщин, одетых в грубые тряпки, и мужчин, в особенности зимою похожих на кучи белья и мехов, наподобие эскимосов. Редко когда на этом мрачном фоне вдруг появлялся красивый вид, вроде монастыря капуцинов, тем красивее, что отчаявшийся путешественник уже его не ждал. Но тот же вид портили соседние ряды крестьянских изб своей неуклюжестью, грязью, запущенным состоянием, красноречиво свидетельствующим о положении мужичка, без веры в будущее и без стремления к лучшей, но все-таки доступной в других странах ему подобным судьбе. Каштеляниц, принужденный проводить время в деревне под видом развлечения, а на самом деле вследствие политической интриги,



заставившей его временно исчезнуть со столичного горизонта, скучал смертельно. Он искал развлечений и думал о них, как об условии существования. Поместье, унаследованное от отца, Троба (по-литовски изба, строение), хотя ныне и не находилось в пределах литовской речи, но по названию свидетельствовало, что раньше здесь была Литва. Старый дом был построен из прусского камня, с высокой крышей и громадным крыльцом.

Разрушенный и живописный вид (согласно современному понятию) этого строения, громадные ольховые деревья и соседний пруд, все вместе напоминаящее пейзаж Брейгеля, понравились приезжему. Он поселился здесь без отвращения, но чтоб занять время, приступил к украшению местности, о чем кроме Бога до сих пор не подумал никто. Как раз тогда начинали быть модными украшения из дерева в коре, называемые рустиками. Сады наполнились бесчисленными хижинами, маленькими храмами, мостиками, скалами и тому подобными украшениями, позаимствованными у китайцев. Нечто в этом роде задумал устроить и каштеляниц. Около дома посеяли цветы, старые строения снесли, очистили берега пруда; что же касается аистов, то их оставили единственно потому, что на знаменитом пейзаже Рубенса тоже помещено их гнездо. Через речку перебросили мост рустик; в том же стиле

построили рыбацкий домик, обвешанный сетями и т. п. для декорации; поодаль поставили храм рустик и т. д., и т. д. По ту сторону пруда у дороги между старыми ольхами стояла старинная разломанная статуя св. Иоанна. Каштеляниц, не долго думая, велел было ее убрать, но его отговорили, так как соседние крестьяне считали ее охраняющей владения и не потерпели бы святотатства ради прихоти барина. Все-таки желая избавиться от уродливой статуи и еще более уродливой часовенки, построенной над ней, каштеляниц выстроил новую и поместил в ней новую каменную статую святого, заказанную за границей; статуя была очень недурна, хотя несколько модернизирована.

Крестьяне восторгались набожностью помещика и ради ее простили ему многие странности, вызывавшие раньше решительное осуждение.

Часовенка была из природного камня, статуя тоже. Но до тех пор она была выкрашена, что поднимало ее значение в глазах окружающих.

Мимо статуи шла дорога из Зацишек на Новый Двор и Березовый Луг. Однажды Бартек, возвращаясь подвыпивши, увидел новую статую.

— Чудо! — воскликнул, — новая! Ей Богу, новая! И красива! Жаль только, что жертвователю пожалел средств на краски, тогда бы была гораздо

лучше. Да будет ему стыдно, так как я ее выкрашу, слово Ругпиутиса. Правда, красок уйдет много; но в честь и славу Божью и в память св. Исповедника не пожалею.

С этими словами он положил свои вещи на траву, уселся, вынул из саквояжа краски, которые недавно выучился носить в пузырях, приготовил грушевую дощечку и кисти, а затем перебрался через железную ограду кругом статуи и приступил серьезно к делу. Лицо св. мученика города Праги засияло румянцем, глаза почернели и скосились, появилась бородка, на голове оказалась шапочка, платье, церковное облачение — были выкрашены подобающе (стиль Ругпиутиса). Художник улыбался и шептал:

— Вот будут удивляться! Вот поразятся люди добрые! А, а! Сейчас скажут: «Здесь проходил Ругпиутис».

Работа близилась к концу, а жмудин был в восторге, когда слышался галоп лошадей и крики. Каштеляниц в отчаянии, увидав издали работу Бартка, помчался в припадке гнева настолько сильным, что сначала не мог слова сказать.

— Что ты делаешь, разбойник! — воскликнул. — Что ты делаешь, мошенник, разбойник!

Бартек повернулся, не понимая, в чем дело.

Ему и не снилось, за что его так назовут.

— Разбойник? Разбойник? — повторил он, наконец, нисколько не смутившись. — Что это? За что? Крашу во славу Господа! Что вы так рассердились?

— Кто тебя просил красить, мерзавец!

— Мерзавец? Это что? Я в жизни не слышал, чтоб меня так называли!

— Кто тебе разрешил?

— Кто разрешил? Разве надо просить разрешения, чтобы выкрасить статую? Я уже двенадцать лет крашу все кресты и статуи на дорогах во славу Божью и ради искупления грехов.

Бартек снова мазнул кистью, но каштеляниц, приблизившись, возмутился:

— Брось это и уходи, дурак, а то велю тебя высечь.

— Высечь? Меня! Меня!

— Уйди, говорят тебе, уйди! Не то уши пострадают!

Бартек почувствовал испуг, но до сих пор не мог понять, в чем дело. Он подобрал краски и кисти и молча перебрался через ограду, презрительно глядя на помещика!

— Смыть! Стереть, счистить! — в отчаянии кричал каштеляниц. — Этот мерзавец испортил мне такую эффектную статую. А! Сотни палок мало за такое дело! На каторгу! На каторгу! (каштеляниц,

воспитанный за границей, полагал, что в Польше была каторга).

— Что с ним? — спросил тихо Бартек у дворовых. — Не сошел ли с ума ваш барин?

— Уйди с глаз! Уйди с глаз! — в то же время воскликнул каштеляниц, подняв угрожающе хлыст.

— Милостивый государь, — ответил, гордо выпрямившись жмудин, — если вы ставите статуи не ради прославления Господа, а из-за какой-то фантазии, это не так важно, хотя душа твоя гибнет; но что касается меня, то я вправе был красить, как и был вправе вешать на крестах передники; это мое приношение.

Не дослушав этих слов, каштеляниц потерял терпение и ударил хлыстом жмудина. Бартек пораженный возмутился, вздрогнул, покраснел, хотел еще говорить, его передернуло и он упал без чувств.

Люди, оставив статую, бросились к упавшему, молчанием своим порицая невоздержанность каштеляница. Сейчас же ему пустили кровь, но несмотря на тщательный уход, на заботы самого виновника происшествия и созванных докторов, смерть, вероятно подготовленная постоянными излишествами в напитках, несколько недель спустя окончила труды и хлопоты Бартека Ругпиутиса.

Мучимый угрызениями совести, каштеляниц решил заботливо охранять судьбу вдовы и детей.

На свой счет устроил роскошные похороны на капуцинском кладбище; вдове обещал несколько тысяч злотых, сейчас же выдал с них проценты; наконец, позаботился и о детях.

Франка, как и большинство действительно прелестных женщин, надолго сохранившая свою красоту, черными испанскими глазами обворожила каштеляница. Давно уже не видя в этой стране ничего человеческого, пан Тромбский был тронут ее взглядом, полным неразгаданных тайн. Но вдова встречала его серьезно, сдержанно, строго, и — кто знает? Возможно, что эта печальная гордость еще увеличила интерес молодого барина, которому наскучили легкие любовные интрижки.

Часто под вечер каштеляниц заезжал в Березовый Луг; но возвращался оттуда печальный, задумчивый и смущенный. Он не мог понять эту бедную простую женщину, к которой не решался подойти прямо. Дети встречали его оживленной болтовней, так как он привозил им игрушки и подарки; мать встречала холодным взглядом и размеренными словами.

Старший сынишка Бартка, Ян, был уже лет двенадцати. Он был похож на мать, красив как ангел Альбана или дитя Гвидо, с черными большими глазами, овальным личиком, темными волосами; только изредка его белые щеки оживлялись румянцем. Каштеляниц любил его

чрезвычайно. Мать, тоже как будто любила его больше остальных, хотя эта скрываемая привязанность иногда только случайно проявлялась. Каштеляниц долго ухаживал за вдовой, пока не потерял надежды; но тогда вместо мести он почувствовал к ней прилив нежного уважения. Он по-прежнему бывал в домике Ругпиутиса, а Франка, видя, что он отказался от прежних планов, принимала его с благодарностью, в то же время не лишенной какого-то чувства собственного достоинства, всегда ей присущего.

## II

Было прекрасное утро, когда каштеляниц, проезжая с гончими мимо домика покойного Бартка, остановился у ворот поздороваться с хозяйкой. Думая, что увидит ее где-нибудь около дома, встал на стремена, но двор оказался пустым. Один Ясь сидел неподвижно у каменной стены и что-то рисовал мелом на большом плоском камне, отвалившемся от ограды. Старая дворовая собака с очень серьезным видом сидела рядом и, казалось, приглядывалась к его работе. Каштеляниц заинтересовался и тихо остановился. Ему вспомнился молодой Амброджиотто Бононе (Джотто), рисовавший овечек своего стада; видя, с каким увлечением мальчик занят своим делом, он

заметил в этом наличие таланта и ему пришлось в голову сделать из мальчика художника, как это сделал Чимабуэ с Джотто.

— Здравствуй, Ясь! — позвал он его. — Что ты тут делаешь?

Мальчик и собака разом подняли голову; на прекрасном личике ребенка появилась улыбка и румянец. Старый Разбой помахал хвостом и, приподнявшись, радостно залаял.

— Ну, что же ты делаешь? — повторил барин, улыбаясь.

— Что? Рисую! — ответил мальчик с серьезным видом, медленно вставая.

— Что же ты рисуешь?

— Облака! — пояснил Ясь. — Но папочка лучше рисовал, у него были краски. У меня их нет, я только белым мажу на камне. Когда делать нечего, я тут часами просиживаю.

— А хотелось бы тебе рисовать лучше папы? Хотел бы ты учиться?

— Это не для меня, — ответил мальчик грустно. — Мама каждый день говорит, что мне пора идти в услужение, зарабатывать на хлеб. Кто учится, тот не зарабатывает.

— Я бы тебе помог, если бы у тебя нашлась охота.

Ясь вспрыгнул на стенку с блестящими глазами и, оглядываясь, тревожно прошептал:



— А мама?

— Мать согласится, так как это хороший заработок, и даже нечто большее — слава, имя-Мальчик не понял последних слов каштеляница.

— Как же так? — воскликнул Ясь. — Я бы научился рисовать и людей, и облака, и лес, и чудное небо, и все что Бог так прелестно создал! А! Не шутите так, не шутите! Сердце у меня прыгает!

— Я не шучу, Ясь, но надо тебе сначала поучиться читать и писать.

— Читать я умею, писать пишу, но скверно.

— А имеешь желание учиться?

— О! Если б только можно, я бы был счастлив!

Каштеляниц наклонился к мальчику, похлопал его по плечу и повернул лошадь во двор. Франка как раз появилась у порога.

Поздоровавшись и сев на скамью, сколоченную еще Бартком, молодой покровитель попросил молока и начал разговор. Ясь беспокойно слушал за дверью.

— Ну что, надо бы подумать о Яне.

— Если б можно было, — вздохнула вдова — если б можно! Давно подумываю отдать его куда, но боюсь, что испортится и жаль его отпускать с глаз.

— Я как раз видел его рисующим на камне.

Желание есть, мог бы стать художником, я бы ему помог.

— А! Вы!

Больше она ничего не сказала, но в глазах появились слезы.

— Подумаем об этом, — сказал каштеляниц, наклонив голову, — подумаем и постараемся.

Некуда было больше отдать мальчика в обучение, кроме Вильны; там каштеляниц поручил его художнику, у которого Ясь мог бы поучиться началам искусства. Но это было делом и в Вильне нелегким. Правда, и там уже медленно пробуждалась любовь к искусствам; находились люди, создававшие Гуцевичей, покупавшие картины и покрывавшие ими стены своих особняков; но не было ни преподавателей, ни школы. Несколько пачкунов, портретистов и копиистов составляли весь артистический круг города Вильны. Наугад расспросив о них, каштеляниц, рассчитывая больше на ученика, чем на руководителей (так как прежде всего верил в природный талант), послал своего воспитанника первому попавшемуся среди них, некоему Ширке.

При прощании Ясь расплакался и обнял за ноги каштеляница, который вручил ему кошелек; мать тоже облила его слезами, сестрички расцеловали; и вот будущий художник на еврейской бричке отправился в первое жизненное

путешествие.

Как описать впечатления этих нескольких дней, столь для него новых?

Полный горячих, но глубоко скрытых чувств, с живым воображением, преисполненный благородства, впитанного им от матери, набожный, так как с малолетства рос в соответствующей обстановке, Ясь принадлежал к типу наивных детей, руководящихся скорее чувством, чем разумом, более наслаждающихся миром, чем изучающих его. Дети ведь бывают двух родов: одни смеются над собой и над своим детством, из которого они еще не вышли, надо всем иронизируют и все встречают как воспоминание о чем-то давно известном; другие (к ним и принадлежал Ян) способны всем восхищаться, все для них прекрасно, велико и роскошно; они выучатся иронизировать и насмехаться только под давлением страданий и цепи разочарований. Наш мальчик был красивый ребенок, каким изображают Иоанна Крестителя в пустыне, белый с легким загаром, черноглазый, с тем затуманенным влажным взглядом, который свойствен людям чувств, часто и надолго задумывающийся, готовый прослезиться, даже в минуты смеха и веселья.

Гордость, наследство матери, уже говорила в его груди, и эта гордость делала его застенчивым. Это так в действительности: гордые люди прячут

свою гордость, скрывают ее под плащом подчинения, чтобы не дозволить задеть свои самые нежные струны. Одни лишь глупые гордецы носят свое сокровище на голове, постоянно его показывают и делают из него мишень для всех.

Ясь знал почти лишь одно местечко, костел и сад капуцинов, Зацишки, Новый Двор и Тробу, поэтому мир показался ему громадным и величественным. До сих пор, возможно, ему казалось, что небо, опускающееся синими полосами на горизонте, где-то не так далеко ставит окончательные границы; теперь впервые все стало убегать перед его глазами, мир растянулся, земля удлинилась, и стала обрисовываться бесконечность.

Его внимание постоянно обращалось на все новые и новые вещи, он не мог спать, жалел, что едут так скоро. Неизвестные цветы, новые породы деревьев, странные закругления рек, широкие дороги, множество людей и притом так непохожих на прежде виденных, даже камни, шуршащие под колесами — все его восхищало. Пение невиданных до сих пор птиц, новые избы, белые костелы с низкими колокольнями, прозрачные рощи белых берез. Он поминутно просил возницу остановиться и дать ему возможность посмотреть; но еврей, считая его ненормальным, в ответ молча поворачивался, пожимал плечами и погонял лошадей. Он был уверен, что везет пациента в дом

умалишенных.

Так они приехали в Вильну. Здесь Яся ожидал уже пан Ширко. Рассмотрим подробнее учителя, которого судьба дала Яну, прежде чем вернуться к ученику.

Пятидесятилетний Пан Ширко принадлежал к числу самых обыкновенных мазилок, — тип художника, достаточно распространенный и сейчас. Немного приобретенного умения, немного удачи и немного насмешливое покровительство епископа Массальского поставили его на положение художника. Здесь он держался как мог. При одном взгляде на него нельзя было ожидать чего-либо значительного. Низкого роста, толстый, с седой косичкой, одетый в немецкий костюм, в серый фрак, отвороты коего были обыкновенно засыпаны нюхательным табаком, в белом помятом жилете и жабо с булавкой, в чулках некогда белого цвета и в ботинках со стальными пряжками, — Ширко имел виг; веселый, самодовольный и торжественно-глупый.

Это последнее выражение ясно рисовалось как в его бледных глазах и улыбающихся губах, как в очертаниях немного вздернутого и почти раздвоенного на конце носа, так и во всей его иногда гордой, а иногда будто глубоко задумчивой фигуре. Весь мир смеялся над ним; но сам он никогда не замечал, что был предметом постоянных

насмешек. С людьми несколько ниже по положению он был безжалостно груб и строг, тем более что вследствие глупости не знал, как с кем следует себя держать.

Когда на прогулках показывался Широко с палкой и любимцем пуделем, искусно подстриженным под льва, как всегда полный достоинства, прохожие оборачивались и улыбались с удовлетворением, настолько он был смешен. Знакомые останавливались, потчевали его нюхательным табаком и разговаривали, подтрунивая. Он все принимал за чистую монету, за доказательства расположения и дружбы. Иногда он даже утверждал, что мало было людей, пользующихся таким как он расположением всех, мало кто мог похвастать таким числом друзей. В душе он считал себя вполне человеком общества и сердцеедом.

В своих отношениях к полу, тогда еще называемому прекрасным, пан Атаназиус (он нарочно так себя называл) придерживался той изысканной французской вежливости, смешной и чрезмерной, примеры которой сохранились среди ветеранов XVIII столетия с их седыми волосами, но играющими роль молодых людей и полных комплиментов, весьма неуклюжих, по поводу насморка, упавшего на пол платка или пролитого соуса. Некогда Атаназиус считал себя красавцем, на

старости лет все еще подозревал, что сносен; поэтому считал своей священной обязанностью ухаживая за всеми дамами (сам по-заграничному именовался шевалье Атаназиус) и, словно изучив любовь по буколикам XVIII столетия, в разговоре, постоянно ссылаясь на аркадских пастухов и пастушек. Его разговор в дамском обществе был полон неестественных ненужных слов, притянутых к фразам за волосы и, притом, в большом количестве, лишен мыслей, растянут и ходулен. Больше всего ему нравились малопонятные, но звучные выражения; среди них было несколько любимых, и он их повторял постоянно ни к селу, ни к городу. Впрочем, это был человек порядочный, как и вообще порядочны люди, ничего скверного не делающие открыто; разве человек глупый может быть вполне честным, если он не в состоянии понять, в чем состоит честность, а чувства ему не хватает?

Как Широко стал художником? Это любопытная история. В юности, правда, он мазал какие-то ужасные картины — ради куска хлеба — для сельских церковок, расписывал хоругви и т. п.; потом принялся за окрашивание комнат. Епископ Массальский (вернее, его управляющий) поручил ему выкрасить комнаты в доме, предназначенном для князя. Но так как Широко чувствовал, что сам не справится, то пригласил компаньоном старика

немца, съевшего собаку в этом деле. Самомнение маляра так смешило князя епископа, что он стал его подбивать взяться за более крупные заботы. Широ послушался, возмечтал и начал храбро рисовать, писать картины и пускать пыль в глаза, опираясь на похвалы епископа. Последний хохотал до упаду, покупал картины, показывал эти плоды необработанного таланта друзьям, а Широ, между тем, немного подучился. В конце концов он перенял от других художников тот механизм, какой всегда могут приобрести глупцы; и вот, довольствуясь портретами и копиями, достаточно близкими к оригиналу, а иногда по-китайски передающими даже пятна оригинала, Широ занял место в ряду художников. Он громко всегда говорил, что князь епископ оказывает ему покровительство, и всюду этим похвалялся. В действительности, кроме лиц, не понимающих ничего в искусстве, все смеялись над ним; но толпа может быть именно потому считала его большим художником. Епископ и его общество обыкновенно восторгались сюжетом, когда Широ приносил копию какой-нибудь известной картины, неумело раскрашенную. Он принимал все похвалы попросту, даже с гордостью и с улыбкой как бы скромности, в которой все-таки, несмотря на свое возвышение, чувствовал надобность. Но наедине с собой он вынужден был не раз говорить:



«Кто-то из нас двоих глуп, но только наверно не я».

В городе у Ширки была своя работа: он писал портреты старых баб, толстых бургомистров, купцов и богатых мещан, пожелавших оставить потомству память о своем красном носе или обвислых щеках. Иногда случалось, что ему заказывали картину для какого-нибудь сельского костела. Тогда он рылся в своем портфеле, находил какую-нибудь картину и бесцеремонно списывал с нее; немного видоизменив, но с такой уверенностью, что можно было поклясться в существовании мускула или вены там, где он их дерзко обозначал, хотя анатом принял бы их за удивительное открытие. Действительно, попадались такие странные руки и искривления лица на картинах Ширки, что князь епископ, большой знаток, до слез хохотал, по целым дням простаивая перед картиной. Если бы только Массальский удовольствовался на всю жизнь этим невинным развлечением!

Как видите, Ясь мог немногому научиться у такого маэстро. Ширко, первый раз в жизни получивший ученика, ожидал его в течение трех дней и все время ходил по городу, между прочим хвастая в разговорах этим великим событием.

— Знаете, господин Мелеский, надо торопиться домой; ожидаю ежеминутно ученика,

которого присылают мне из провинции. Мальчик подает большие надежды, ему протезирует каштеляниц Тромбский, который, слыша обо мне...

Покупая затем табак в лавочке:

— Здравствуйте, пани Матиасова, пожалуйста, отпустите скорее табачку, я тороплюсь. Я открыл школу живописи: сегодня приезжает ученик издалека, из провинции, ему протезирует...

Далее, встретив кого из знакомых:

— Ха! ха! Знаете, новая работа! Новый труд!

— Новая картина?

— А! Не то! Ученик приезжает ко мне из провинции. Ежеминутно его ожидаю. Протезе каштеляница, который, слыша обо мне...

Итак, весь город знал о великом событии еще до приезда Яся. Широко по вечерам серьезно задумывался: чему и как будет учить? Нельзя лучше описать этого человека, как передав его размышления, родившиеся впервые в силу необходимости.

— Чему я буду его учить? Как? Очевидно, надо ему дать что рисовать. Только, Боже сохрани, не с окошка! Это надо строжайше воспретить! Сначала будет рисовать с гравюры, потом с природы, потом научу его растирать краски; наконец, когда сделает успехи, покажу, как писать красками. Главное — это уметь смешивать краски и держать

кисть, сюжет всегда найдется, столько рисунков на свете! Что же касается натуры, то она была полезна старинным начинающим художникам; теперь она вошла в искусство настолько, насколько было необходимо и ей овладели мы. Чему места не нашлось, тем хуже, это пусть остается в стороне. Теперь мы знаем натуру в совершенстве, можем прекрасно обойтись без живых моделей. Мы взяли, что следовало взять, а с остальным шабаш. Да, главное тень и краски. Все-таки надо будет дать ему что рисовать, одолжу гравюр у Батрани, пусть пока справляется с ними при помощи пастели, мела и карандаша. Я сам почти ничего не рисовал, а вот стал же художником. Епископ всегда говорит: «Пронюхали вы, что колорит — это главное!» а князь епископ всегда прав, кто же был бы прав, если бы не он? Так это, так! Последняя моя картина даже растрогала его до слез, он все время повторял: «Какая экспрессия! Какое выражение!» Он лишь делал вид, что смеется (приличия ради), но я видел слезы у него на глазах.

Пока Атаназий размышлял, Ясь, наконец, приехал.

Ширко, никогда в жизни не учившийся и не учивший, почувствовал себя профессором, получив ученика, и решил начать с крайне строгости, пытаясь прежде всего вселить в ученика спасительный страх. «Страх, — мысленно говорил

шевалье Атаназис, — учит, руководит, принуждает и служит источником всякого добра. Поэтом начнем с него». И вот, перед Ясем предстал учитель под видом засыпанной табаком карикатуры на олимпийского Юпитера. Взгляды, движения, советы — все было преисполнено такой смешной серьезностью, что со стороны нельзя было удержаться от хохота.

Яся сначала очень удивил этот маэстро. Сперва он в него уверовал, но вскоре природный рассудок показал ему пустоту человека, который даже перед ребенком не мог скрыть свою колоссальную глупость, льющуюся как из дырявого сита. Будучи убежден, что чему-нибудь он выучится, Ясь решил слушаться И работать. Он не очень-то доверял своему учителю, больше рассчитывал на образцы и опыт. Здравый смысл говорил ему, что трудом всего добьешься, что нет труда без результата. Что же касается Ширки, то он, зная немного и кроме механического навыка и однообразия манеры не доискиваясь в искусстве никакой мысли и тайны, скорее портил, чем исправлял и вел ученика. Для него еще искусство ограничивалось ремеслом.

Жизнь нашего маэстро была самой прозаической. Он поселился за Острой Брамой в одном из тех новых нежилых домов, едва высохших, где новизна их делает пустыми и

скучными. Всюду, куда нога ни делала шаг, казалось, она делает его впервые. В природе, творении Бога, пустыня восхищает и чарует; в творения человека эта девственность, вследствие отсутствия воспоминаний, превращается в холодную и печальную наготу. Творение человека, быть может, нуждается в старости для того, чтобы стать красивее и слиться в одно целое с окружающим миром. Громадные белые пустые и сырые комнаты пугали своей незапятнанной свежестью, своим нежилым видом. В одной из них, приспособленной под мастерскую, работал Широ. Здесь на столе лежал портфель с гравюрами, платок, выпачканный табаком, и палитра; под стулом стояла бутылка с пивом и грязный стакан. Словно наперекор квартире, мебель, перевезенная из старого дома, была вся поломана и грязновата. Здесь она казалась еще хуже. На стенах висело несколько неважных ярко написанных картин, дающих представление о таланте художника в различные периоды его роста: одни из них были подмазаны, другие подправлены, иные выписаны до безобразия, как фарфоровые цветы. Несколько старых темных картин вкривь и вкось повисли пятнами на свежештукатуренных стенах. Вместе с ними переселились из старой квартиры пыль и паутина. Маленькая продавленная кровать, запечатлевшая очертания тела, лежащего на ней

всегда в одном, очевидно, положении, грязная кожаная подушка, таз и кувшин с водой, немного одежды и сундук — вот остальная обстановка этой комнаты. В другой, где растирались краски, было полно всюду тряпок и бумаги, брошенных после чистки палитры, бутылок с лаком и банок с растительным маслом, кусков холста, грязных камней, банок из-под угрей и пр.; здесь жили Ясь и Мацех, мальчишка на побегушках, тип уличного оборванца из тех, что в пятнадцать лет испорчены как в пятьдесят.

Ширко обедал в соседней столовой, а служанка Марцианна, жившая у квартирантов внизу, стирала ему белье и варила кофе. Толстая, красная и веселая «Мариторна» пользовалась большим успехом у художника, который не пропускал случая, чтобы ее не обнять и не расцеловать. Она, по-видимому, на это не сердилась и на эти дерзости не реагировала; возвращаясь, смеялась, приводила в порядок волосы и часто внизу даже слышны были ее песенки и смех. Мацех, лодырь в полном смысле слова, обкрадывал барина, устраивал всем фокусы, умел прекрасно отолгаться и выйти сухим из воды, пропадал по ночам, но прекрасно прикидывался заспанным, хотя едва успел лечь на свою постель. Это был истинный жених виселицы.

Пан Ширко, как мы уже говорили, больше

всего писал портреты, реже церковные картины и т. п. Но в общем он был мало занят, а так как зарабатывал немного, то неизвестно было, как он живет и делает ли сбережения. Его считали все-таки человеком со средствами, хотя никто не знал тайн его сундука и старой шкатулки. Его дневная жизнь была вся на ладони. По вечерам он уходил, но даже Мацех, желая в своих интересах проследить его, не знал, куда и зачем; иногда он возвращался в полночь, иногда позже или под утро, то в веселом настроении, напевая, то в страшно сердитом, с бешенством. Иногда он бросал палку в один угол, шляпу в другой и растягивался на кровати; иногда открывал сундук, прятал что-то в него и запирали. Мацех еще ничего не разузнал, хотя о многом догадывался; Мариторна качала головой, не зная, как объяснить эти периодические затмения.

Однако эта большая тайна имела свою разгадку в страсти, вошедшей в плоть и кровь Польши только в XVIII столетии. Широко был страстным игроком. До Саксонской династии, а в особенности До эпохи Станислава Августа игрока пришлось бы искать только между всяким сбродом. Исключение составляли придворные, о которых упоминает в проповедях ксендз Скарга, что играли с королем в «Прымиру»; это уже считалось грехом или проступком, хотя, по всей вероятности, играли на молитвы и выигрышем пользовались только в

чистилище. Только лишь когда ужасное болезненное равнодушие к будущему сдавило половину страны в своих холодных объятиях, когда в испорченных сердцах разогрелось стремление к веселью, роскоши, разврату, наслаждениям, в салонах Варшавы появилась игра, как неразлучный спутник разложения нравов, часто как орудие, ловко применяемое либо для соблазнения людей, либо для подкупа их, когда проигрываются в пух и прах. Канцлер казначейства, а затем Вал...ий были первыми профессиональными игроками в Польше. Это развлечение высших классов общества, заимствованное у низов и царящее над лентяями, слабовольными, обессиленными, ищущими в игре ощущений — постепенно от господ перешло к другим слоям общества и достигло даже лакейской. Чему у нас не подражают, если только власть имеющие покажут пример? Кажется даже, что если бы господа стали подавать пример добродетели, бесребренничества, послушания и трудолюбия, и этому постарались бы подражать. Дело стоит попытки. Словом, игра как капля, проглоченная устами, разлилась в крови всего человека-народа. Как всегда, она явилась развлечь умирающего. Играли тогда и в Вильно как по дворцам, так и по различным грязным притонам, где шулера обыгрывали легковверных и страстных игроков. Пан Ширко являлся дойной коровой для этих рыцарей